



П.Д.  
БОБОРЫКИН



СОЧИНЕНИЯ

Петр Дмитриевич Боборыкин

**Проездом**

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0022
IV.....	.0031
V.....	.0041
VI.....	.0050
VII.....	.0058
VIII.....	.0067
IX.....	.0077
X.....	.0088
XI.....	.0100
XII.....	.0110
XIII.....	.0121
XIV.....	.0130
XV.....	.0139
XVI.....	.0148

**Петр Дмитриевич Боборыкин**

**Проездом**

— Когда поставлен этот памятник? — спросил барин, сильно за сорок лет, в светлом пальто, у стоявшего с ним молоденького студента в сюртуке, в очках, по всем признакам, только что надевшего форму.

— Который? — переспросил его студент и застенчиво оправил очки.

— Да вот! — и барин указал на памятник Ломоносова через решетку двора нового университета на Моховой.[1]

— Не могу вам сказать.

Студентик неловко взял вбок и удалился торопливою походкой.

«Хорош, — подумал барин, — этого не знает даже».

Да и памятник вызвал в нем пренебрежительное движение тонких, бескровных губ.

Вадим Петрович Стягин был дурен собою: сухое тело, сутуловатость при очень большом росте, узкое лицо с извилистым длинным носом, непомерно долгие руки, шершавая, с проседью, бородка и желтоватые глаза, обведенные красными веками.

Одевался он по-заграничному, носил высокую цилиндрическую шляпу, белый фуляр[2] на шее, светлое, английского покроя пальто и башмаки с гетрами на толстых подошвах. Он упирался на палку с серебряным матовым набалдашником.

Теперь он шел домой, на Покровку. Сейчас заходил в Румянцевский музей,[3] так, от безделья, — не отыскал ни переулка, ни даже дома, где, по его соображению, должен был проживать его приятель и товарищ по университету Лебедев.

На памятник Ломоносова Стягин посмотрел еще, пристально и с оттянутою книзу губой, — мина, являвшаяся у него часто.

«Это полуштоф какой-то! — мысленно выговорил он. — Что за пьедестал! Настоящий полуштоф с пробкой... Точно в память того, что российский гений сильно выпивал!..»

Недобрая усмешка искривила рот Стягина, и он пошел развихленною походкой, гнулся на ходу и начал вертеть палкой.

Стоял чудесный сентябрьский день после дождливого, холодного времени, захватившего Стягина на железной дороге.

Несмотря на погоду, Вадим Петрович чувствовал в ногах какое-то необычное жжение и колотье, которые мешали ему идти скорее.

Вообще он был в брезгливо-раздражительном настроении. Эта Москва и сердила, и подавляла его. Он попал сюда по пути в деревню из-за границы, где проживал — с редкими возвращениями в Россию — почти всю свою жизнь, с молодых годов, с той эпохи, как кончил курс в Московском университете.

Никогда еще, попадая сюда, не испытывал он такого брезгливо-раздраженного чувства к этому городу, ко всему своему, «руссопётскому», как он выражался и вслух, и про себя.

Он приехал «ликвидировать», продать свой дом на Покровке, стоявший второй год без жильцов, продать имение, в крайнем случае, сдать его в аренду.

Надо будет ехать в имение, если он поладит с одним из арендаторов. Все это скучно, несносно и его поддерживает только то, что, так или иначе, он покончит, и тогда всякая связь с Россией будет порвана, никакого повода возвращаться домой... Надоело ему выше всякой меры дрожать за падение курса рус-

ских бумажек. Один год получишь пятьдесят тысяч франков, а другой и сорока не выйдет... Свободные деньги он давно перевел за границу, купил иностранных бумаг и полегоньку играет ими на парижской бирже.

В Париже у него годовая квартира, особняк с садиком, в Пасси. Он держит свою кухарку и грума,[4] ездит верхом на собственной лошади, выписанной из России, потому что у нас они втрое дешевле.

Он не холостой и не женатый, живет на два дома; но вот, после ликвидации своих дел, можно будет построить свой собственный коттедж в окрестностях Парижа и зажить домком, покончить с своею полухолостую жизнью...

Но когда это будет?.. В России все так тянется, кредиту нет, денег нет, всякие сделки с ужасными проволочками.

«Отвращение!» — вскричал Вадим Петрович про себя, все сильнее раздражаясь на Москву.

Его взгляд остановился на двухэтажном доме около манежа, где когда-то помещался знаменитый студенческий трактир «Великобри-

тания».

Неужели и он, в конце пятидесятых годов, когда из подростка-барчонка превратился в студента, надел треуголку и воткнул в портупею шпагу, любил этот город, этот университет, увлекался верой в «возрождение» своего отечества, ходил на сходки, бывавшие в палисаднике позади здания старого университета?

Да, все это он проделывал. Участвовал даже в истории, в схватках с мастеровыми, там, где-то далеко, около Яузского моста, где стоит церковь, — кажется, она во имя архидьякона Стефана?

Прошли годы. Порвались и всякие родственные узы. Родители умерли, родственников он недолюбливал, сохранил только почтительное чувство к бабушке; она пережила его мать и отца; от нее ему достался дом на Покровке и капитал в несколько десятков тысяч.

И вся его связь с Москвой сводилась к нескольким домам из дворянского общества, да к товарищу по факультету, Лебедянцеву, чудаку, из разночинцев, с которым он готовился к экзаменам и ходил на охоту... Товари-

щи дворянского круга разбрелись. Кое-кто живет и в Москве, но все так, на его взгляд, поглупели и опошлели, несут такой противный патриотический вздор...

Вряд ли он к кому-нибудь из них и поедет в этот приезд.

Да вот и Лебедянцева он не мог отыскать. Адрес он затерял, думал найти на память; из-за потери адреса и не предупредил его письмом из Парижа. Надо будет посылать в адресный стол.

Вадим Петрович подходил к Охотному ряду и завернул книзу по Тверской. Куда он ни смотрел — отовсюду металась ему в глаза московская улично-рыночная сутолока; резкие цвета стен, церковные главы, иконы на лавках, вдали Воскресенские ворота с голубым куполом часовни и с толпой молящихся; протянулись мимо него грязные, выкрашенные желтою и красною краской линейки с певчими и салопницами, ехавшими с каких-нибудь похорон... Слева от него — он шел правее по тротуару — провели, посредине, двух арестантов с тузами на серых халатах, а два конвойные солдата в обшарханных и по-

желтых мундирах смотрели так же похмуро и жалко, как и колодники. Извозчики с покосившимися дрожками, ободранные, на клячах, пересекали ему дорогу, когда он поднимался вдоль Исторического музея на Красную площадь.

Сверху стены Кремля башни, золотые луковичы соборов высились над ним, как нечто чуждое, полуварварское, смесь византийщины с татарской ордой.

«Это Европа? — спрашивал он себя. — Это находится в одной части света с Парижем, Лондоном, Флоренцией?.. Allons donc! [5] Это — Ташкент, Бухара, Средняя Азия!»

И ему не казались банальными его возгласы. Он в этот приезд сильнее, чем когда-либо, сознавал в себе западного европейца, со всею беспощадною требовательностью человека, изверившегося в свое отечество, принужденного поневоле проживать тут, в этой псевдо-Европе, не потрудившейся даже хорошенько принарядиться.

Он шел мимо полуразрушенного Гостиного двора и железных временных лавок, и усмешка пренебрежения и постоянного недо-

вольства не сходила с его губ.

В теле он ощущал странное утомление, но взять извозчика не хотел. Ему противно было сесть в грязные дрожки, толкаться из стороны в сторону по отвратительной мостовой.

Еще схватишь какую-нибудь заразительную болезнь. На извозчиках перевозят тифозных мастеровых и мужиков.

— Ну, город! — выговорил Стягин и ускори́л шаг по Варварке.

Вадим Петрович проснулся поздно, с головной болью и ломом в ногах. Он спал в обширном, несколько низковатом кабинете мезонина. Нижний этаж его дома стоял теперь пустой. В мезонине долго жил даром его дальний родственник, недавно умерший. С тех пор мезонин не отдавался внаем и служил для приездов барина.

Просторный покой смотрел уютно, полный мебели, эстампов по стенам, с фигурным письменным бюро. Всей мебели было больше тридцати лет; некоторые вещи отзывались даже эпохой двадцатых годов — из красного дерева с бронзой. В кабинете стоял и особенный запах старого барского помещения, где жилали всегда холостяки. Ничто и в остальных комнатах, — их было еще три и ванная, — не говорило о присутствии женщины.

Лежа на турецком диване, служившем ему постелью, Стягин оглядывал кабинет глазами, помутнелыми от мигрени и лома в обоих коленях. Солнечные полосы весело пересекали стену, пробиваясь из-под темных штор, но

они его не веселили.

Вчера остальной день его прошел так же безвкусно, как и утро. Тот господин, который вел с ним переписку по делу аренды, не явился, заставил себя прождать. Перед обедом зашел Стягин к трем барыням, на Сивцевом Вражке и на Поварской. Двух не было еще в Москве — не возвращались из деревни; третья так постарела, обрюзгла, несла такой претенциозный и дурно пахнувший патриотический вздор, что его чуть физически не затошнило. В клубе он приказал записать себя на имя одного барина, которого тоже не оказалось там. За обедом он не встретил ни души знакомой. Против него, за столиком, громко жевали какие-то москвичи неприятного для него вида: не то дворянящиеся разночинцы, не то адвокаты, смахивавшие на артельщиков. Их дурная манера есть, их смех, прибаутки, выражение лиц — все ему было противно и мешало есть. Да и аппетита не было. Он находил все жирным, тяжелым, варварским.

Вечер провел он в театре, в одном из частных театров, где то, что давали на сцене, казалось ему тусклою и тягучею повестью в ли-

цах, с неизбежным пьяным разночинцем, говорящим грубости во имя какой-то правды. Публика возмущала его еще больше пьесы и актеров. Она смеялась от пошлых острот и кривляний актеров, вызывала бестактно и бесцеремонно, после каждого ухода, своих любимцев; в антрактах шаталась по фойе, поглощала водку, курила так, что из буфета дым проникал в коридоры и ходил густыми волнами. К концу спектакля что-то донельзя ординарное, грубое и глупое начало душить его. Он почти с ужасом спрашивал себя в антрактах: «Неужели я мог бы скоротать свой век среди такой культуры, не будь у меня средств жить, где я хочу?»

А ведь это могло очень и очень случиться. Вон его товарищ Лебедянцев прокоптел же двадцать с лишком лет в этой Москве!

И теперь, лежа на турецком диване под своим дорожным одеялом, Вадим Петрович и во рту ощущал горечь от вчерашнего дня, в особенности от театра с его фойе, буфетом и курилкой. Никогда и нигде публичное место так не оскорбляло его своим бытовым букетом.

Он позвонил в колокольчик, стоявший на табурете. Ему прислуживал дворник, добродушный и глуповатый малый, по имени Капитон, ходивший неизменно в пестрой вязаной фуфайке и в коротком пальто, которое он совершенно серьезно называл «спинжак».

И Стягину это слово казалось символическим. Он находил, что «спинжак» царит по всей этой Москве, да и всюду, по всему его отечеству. Спинжак и смазные сапоги, косо́й ворот или вязаная фуфайка, гармоника и сороковушка водки, зубоскальство, ругань, бесплодное умничанье, нахальное обличенье всего, на что позволено плевать, и никакого серьезного отпора, никакого чувства достоинства, желания и возможности отстоять какое-нибудь свое право.

Красное, круглое лицо Капитона, обросшее на щеках и подбородке скорее пухом, чем волосами, показалось в дверях.

— Тепло на дворе?

— Не дюже, Вадим Петрович, а припекает солнышко.

— Поддай мне газеты и завари чай! Я буду пить в постели.

— Сию минуту.

От смазных сапог Капитона пахло ворванью. Этот запах преследовал Стягина повсюду и даже не покидал его обонятельных нервов там, где он не видел сапог. Но у Капитона другой обуви не было.

Дворник принес сначала газеты и сказал, кашлянув в руку:

— Левонтий Наумыч пришли... Когда прикажете позвать?.. Они там, в передней.

— Пусть подождет.

— Слушаю-с.

Левонтий — старый дворецкий его родителей, бывший одно время его дядькой. Теперь он в одной из московских богаделен, куда Вадим Петрович поместил его лет пять тому назад.

Газеты, поданные Капитаном, произвели в Вадиме Петровиче новый наплыв раздражения. Он стал просматривать пестро напечатанные столбцы одного из местных листков и на него пахло с них точно из подворотен где-нибудь в Зарядье или на Живодерке. Тон полемики, остроумие, задор нечистоплотных сплетен, липкая пошлость всего содержимого

вызвали в нем тошноту и усилили головную боль.

— Этакая мерзость! — вскричал он и бросил газетный листок на ковер. — Что это за город! Что это за люди, что за троглодиты! — громко dokonчил он и сильно позвонил.

Показались опять красные щеки Капитона с белокурым пухом вокруг подбородка.

— Позови Левонтия.

— Слушаю-с.

Вадим Петрович знал вперед, что Левонтий будет жаловаться на свое богаделенное житье и что ему надо будет дать пятирублевую ассигнацию. Когда-то он любил его говорить весь тон его речи, отзывавшейся старым бытом дворовых; находил в нем даже известного рода личное достоинство, вспоминал разные случаи из своего детства, когда Левонтий был приставлен к нему. До сих пор он, полушутливо, не иначе зовет его, как «Левонтий Наумыч».

— Батюшка, Вадим Петрович! — раздался уже шамкающий голос Левонтия.

Он вошел в дверь неслышными шагами, точно будто на нем были туфли или валенки.

Старик, среднего роста, смотрел еще довольно бодро, брился, но волосы, густые и курчавые, получили желтоватый отлив большой старости. На нем просторно сидело длинное пальто, вроде халата, опрятное, и шея была повязана белым платком.

— Здравствуйте, Левонтий Наумыч! — приветствовал его Стягин и поднялся с постели.

— Ручку пожалуйста!

Левонтий скорыми шагами устремился к руке, но Вадим Петрович не допустил его до этого.

— Как поживаете, Левонтий Наумыч? Книжки божественные почитываете? Чаек попиваете?

Побалагурить со стариком по-прежнему Вадиму Петровичу не захотелось. Левонтий сразу напомнил ему, как много ушло времени, сколько ему самому лет и как эта Москва полна для него покойников. И без того вчера, проходя по Молчановке, он насчитал целых пять домов, для него выморочных. Все в них перемерли, и теперь живут там какие-нибудь «обыватели», — слово, принимавшее в его

устах особенно презрительную интонацию.

Так точно и Левонтий, с его запахом лампадного масла не то от волос, не то от его бахла, обдавал его кладбищем.

— Надолго ли, батюшка? — шамкал Левонтий, наклоняясь над ним.

— Да как дела. Хочу покончить со всем.

— Как, батюшка?.. Виноват... на одно-то ухо туговат стал я.

— Приехал все продать, — выговорил громко Вадим Петрович, и ему точно захотелось нанести старику чувствительную неприятность, сообщить ему об этом бесповоротном решении — ликвидировать и распрощаться с родиной.

— Дом изволите продавать?

Вопрос Левонтия вылетел почти с испуганным вздохом.

— И дом, и деревню, если хороший покупатель найдется.

— И вотчину?.. Батюшка!.. Как же это возможно!..

Глаза старика сразу покраснели, и две слезы покатались из них по розовой, точно восковой щеке.

— Затем и приехал, — все так же громко и как бы злорадно повторил Стягин.

— Господи!

«Разрюмится старикашка, — проворчал про себя Вадим Петрович, — и пойдет причитывать!»

— Нечего делать, Левонтий Наумыч, такие у вас порядки, что зря, без всякого смыслу, только разоряешься... Цен ни на что нет, дом пустой стоит, бумажки ваши скоро до четвертака дойдут... Слышали об этом?

— Ох ты, господи!.. Это точно, батюшка, все в умаление пришло... Скудость!.. А все-таки... дом продать... Папенька-маменька... дяденька-кабабенька — все жили... Опять же вотчина... усадьба... ранжереи, ананасницы...

— Вот что вспомнил!.. От ананасов теперь и навоза-то не осталось...

— Вотчина — дедина, — продолжал старик тоном тихого причитания, от которого Стягину делалось еще тошнее.

— Мало ли что! — почти гневно вскрикнул он.

Левонтий отошел смиренно к двери.

Дверь шумно растворилась.

— Лебедянцев!.. Ты, брат?.. — удивленно окликнул Вадим Петрович.

Он не столько обрадовался приятелю, сколько удивился, что тот нашел его. После вчерашней неудачи с отыскиванием его переулка и дома Стягин хотел сегодня утром послать за справкой в адресный стол.

— Небось удивлен, что я первый тебя нашел?.. Хе-хе!

Лебедянцев — небольшого роста, блондин, с жидкою порослью на сдавленном черепе, в очках, с носом в виде пуговки и с окладистой бородой, очень небрежно одетый, засмеялся высоким, скрипучим смехом.

— Здравствуйте, Левонтий... как, бишь, по батюшке?.. — обратился он тотчас же к старику.

— Наумыч, батюшка, Наумыч... Покорно благодарствую... Скриплю-с, грешным делом, скриплю-с.

— Крепись, старче, до свадьбы доживешь!.. Ну, ты, Вадим Петрович, хорош... нечего ска-

зять. Чтобы черкнуть словечко из Парижа или хоть бы депешу прислал с дороги!

— Да я адрес твой затерял, — оправдывался с гримасой Стягин. — Ваши московские дурацкие переулки...

— Нечего, брат!.. Ну, поздороваемся хоть! Вот физикус-то? Все кряхтит да морщится.

— Позволь, позволь, я еще не умыт!

— Экая важность!

Приятель звонко поцеловал его два раза.

— Да как же ты-то узнал о моем приезде? — все еще полунедовольно спросил Стягин.

— Видел тебя вчера издали... Кричу... на Знаменке это было... ты не слышишь, лупишь себе вниз и палкой размахиваешь... Другой такой походочки нет во всей империи... Вот я и объявился... Заехал бы вчера, да занят был до поздней ночи.

Тон Лебедянцева в этот раз ужасно коробил Вадима Петровича.

«Как охамился!» — подумал он и собрался вставать с постели.

— Левонтий Наумыч, подождите там, в передней.

— Слушаю-с, батюшка... Да вам не угодно ли чего?.. Умыться подать? Я с моим удовольствием...

— Нет, не надо.

Старик тихонько выполз из полуотворенной двери.

— Умываться по-прежнему будешь? — задорно и как-то прыская носом спрашивал Лебедянцев, ходя быстро и угловато перед глазами Вадима Петровича.

— Послушай, Дмитрий Семеныч, — остановил его Стягин, — не арпантируй ты так комнату.

— Что?

Лебедянцев расхохотался.

— Повтори!.. Как ты сказал... арпан... арпанти... Это по-каковски?

— По-французски! — сердито крикнул Стягин. — Садись, пожалуйста, и кури... если желаешь... — А мне позволь умыться.

— Сделайте ваше одолжение! Вот петушится! Все такая же брюзга!

Стягин откинул совсем одеяло, опустил ноги с гримасой, хотел подняться и вдруг схватился за одно колено.

— Ай! — вырвалось у него, и он опять поднялся. — Не могу!

— Чего не можешь? — смешливо спросил Лебедянец.

— Ах ты, господи! Разве ты не видишь? Не могу встать! Колотье!

— Разотри суконкой!

— Суконкой! — почти передразнил Стягин и начал тереть себе оба колена.

Гримаса боли не сходила с его некрасивого, в эту минуту побуревшего лица.

С трудом встал он на ноги, потом оделся в свой фланелевый заграничный *coin de feu*[6] и, ковыляя, прошел через кабинет в темную комнатку, где стоял умывальный стол.

— Ты ревматизм или подагру нажил, что ли? — крикнул ему вдогонку Лебедянец.

«Типун тебе на язык!» — выбранился Стягин про себя, волоча одну ногу. Ходить было можно, но в правом колене боль не стихала, совсем для него новая. Лебедянец болтал зря: ни ревматизмом, ни подагрой он не обзаводился.

Умыться он должен был наскоро. Стоячее положение поддерживало боль с колотьем в

самую чашку правого колена. И в левой ноге ныло.

— Этакая гадость! — повторял Стягин, умываясь.

— Какая погода была по дороге? — крикнул ему Лебедянцев.

— По какой дороге? — все с возрастающим раздражением переспросил Стягин.

— Ну, по Германии, что ли, до границы?

— Сырая, мерзкая.

— Небось в спальном ехал?

— В sleeping car, — назвал Стягин по-английски.

— Поздравляю! Вернейшее средство схватить здоровый ревматизм. Поздравляю!

— Глупости говоришь! — огрызнулся Стягин.

Боль не давала ему покоя. Он, через силу, закончил свое умывание и вернулся к постели хромя.

— Не глупости! — задорно возразил Лебедянцев. — Вернейшее средство, говорю я тебе. Не здесь же ты схватил эту боль!.. Ты посмотри, какая у нас погода стоит! Что твоя Ницца!

— В вашей вонючей Москве, — заговорил,

все сильнее раздражаясь, Стягин, — разве есть возможность не заразиться чем-нибудь? Что это за клоака! Таких уличных запахов я в Неаполе не слыхал... И неестественно-теплая погода только вызовет какую-нибудь эпидемию.

— Сыпной тиф уже есть... и скарлатина!..

— Чему же ты рад? У тебя дети есть, а ты хочешь!.. Это, брат, бог знает, что за...

Вадим Петрович хотел кинуть слово «идиотство», но удержался, да и в правое колено ужасно сильно кольнуло. Он застонал и прилег на постель.

— За доктором пошли, если приспичило.

Лебедянцева опять заходил по комнате, скрипел сапогами и перебирал то правым, то левым плечом, с покачиванием головы.

Стягину захотелось крикнуть ему: «Да убирайся ты от меня!» — но он только продолжал тихо стонать.

— Мнителен ты непомерно... Избаловался там у себя, в Париже...

— Замолчи, пожалуйста! — перебил Стягин приятеля и порывисто позвонил.

Показалось бритое лицо Левонтия.

— Что прикажете, батюшка? Капитон-то отлучился на минутку... Чаю прикажете заварить?

— В аптеку надо послать, — простонал Стягин и добавил в сторону Лебедянцева: — *Comprime echauffante*[7] — всего лучше...

Левонтий приблизился к дивану и заботливо спросил:

— Ножки нешто схватило вдруг?

— Ножки!.. Ха-ха! — прыснул Лебедянцев.

— Колотье, батюшка? — продолжал спрашивать Левонтий. — Так первым делом в баньку и нашатырным спиртом...

— В баньку! — опять прыснул Лебедянцев.

Приятель делался просто невыносимым. Вадим Петрович с усилием приподнялся и выговорил:

— Послушай, Лебедянцев! Вместо того, чтобы глупости говорить, ты бы лучше съездил за доктором... Есть у тебя знакомый — не мерзавец и не дубина?

— Есть. В большом теперь ходу.

Лебедянцев сказал это посерьезнее, но тотчас же прежним тоном добавил:

— А Левонтий Наумыч дело говорит: в

баньку!.. Чего тут лечиться!

— Поезжай, я тебя прошу.

— Изволь, изволь!.. Вот приспичило! Я хотел толком расспросить тебя...

— После, после! Заверни, когда освободишься... Ты на службе?

— На вольнонаемной.

— Ну, и прекрасно!

Говорить Стягину было тяжело. Он с трудом пожал руку приятеля и сейчас же схватился за правое колено.

Левонтий проводил Лебедянцева в переднюю и вернулся к барину.

— Разделись бы, батюшка, — шамкал он. — Позвольте я, чем ни то, ножки-то разотру... Капитошу и в аптеку спосылаем. Мыльного спиртцу бы, коли нашатыря нежелательно...

Старик довольно ловко начал Вадима Петровича раздевать.

Его услуги и старческий разговор были гораздо приятнее Стягину, чем присутствие Лебедянцева с прыскающим смехом, резкостями и всем московским прибауточным тоном приятеля.

Капитона послали в аптеку за камфарным

спиртом и клеенкой, — так приказал сам Стягин, — а Левонтий смастерил из полотенца и носового платка холодную припарку к правому колену. Он же заварил и подал чай.

Боль не проходила, но Стягин старался лежать спокойнее. Во всем теле чувствовал он жар и зуд; голова болела на какой-то особенный, ему непонятный манер. Он даже не допил поданного стакана чая.

Старик стоял у дверей и покашливал в руку.

— Сядьте, сядьте, Левонтий Наумыч, — сказал ему Стягин, раскрыв глаза.

— Постою, батюшка.

— В передней... посидите... Я позвоню.

Вадима Петровича начинало брать раздражение и на бывшего своего дядьку. Страх заболеть серьезно в этой противной для него Москве начал охватывать его и делал самую боль еще жутче.

## IV

В кабинете стоит хмурый полусвет. На дворе слякоть, моросит и собирается идти мокрый снег.

Вадим Петрович, полуодетый, сидит на кушетке с ногами, укутанными тяжелым фланелевым одеялом.

Четвертый день он болен, и болен не на шутку. Голова свежее и в теле он не ощущает большой слабости, но в обоих коленях, особенно в правом, образовалась опухоль, да и вся правая нога опухла в сочленениях, и боль в ней не проходила, временами, по ночам и днем, усиливалась до нестерпимого нытья и колотья.

Лебедянцев доставил своего приятеля-доктора — «восходящую звезду», как он его назвал. «Звезда» эта Вадиму Петровичу совсем не понравилась. Он нашел его грубым семинаристом, даже просто глупым, небрежным, с ненужными шуточками над самой медициной, а главное, непомерно дорогим. Этой «звезде» уже платили двадцать пять рублей за визит, и Лебедянцев предупредил его, что

рассчитать его меньше, чем по двадцати рублей, нельзя.

— Да это возмутительно! — кричал Стягин. — Даже по нашему отвратительному курсу это выходит пятьдесят франков такому болвану, когда в Париже Шарко[8] можно дать два золотых!..

— Ничего не поделаешь! В Москве гонорары купецкие!

— Все изгажено в твоей вонючей Москве! Дворяне, чиновники, трудовые люди — все нищие, а какому-нибудь лекарю-оболтусу плати двадцать пять рублей, потому что с лабазников и чаепродавцев можно брать сколько влезет.

И теперь, сидя на кушетке с опухлыми коленами, Вадим Петрович раздраженно думал о докторе, о его визите, о бесплодности, быть может, созывать консилиум и платить другим «звездам» уже не лиловенькие, а радужные.

Все расстроила эта внезапная болезнь, которую его врач до сегодня хорошенько не определил. Не то это острый ревматизм сочленений, в чистом виде, не то подагра. Но

двинуться нельзя, о поездке в деревню нечего и думать. А сколько придется лежать? Кто это знает?

Осень надвигается, холодная и мокрая. Такого рода болезнь, наверное, затянется.

Не мог он до сих пор и переговорить с тем арендатором, который писал ему в Париж и должен был явиться сегодня. Он его не знает, справиться о нем не у кого было, да болезнь и не давала передышки в эти первые дни. Сегодня в правой ноге жжение как будто поутихло. Надо воспользоваться утренним часом, когда вообще бывает полегче, и принять этого господина.

Зовут его Федор Давыдович Грац. Кто он — еврей или немец, швед или просто настоящий русский, носящий нерусскую фамилию? Вадим Петрович знает про него только то, что этот господин арендует имения в разных уездах губернии, а может, и в нескольких губерниях, рекомендовался в письмах как человек с капиталом и просил обратиться за справками к одному генералу и даже к «светлейшему» князю, у которых арендует имения. Полежаевку, деревню Стягина, он знал хорошо; это

видно было по его письмам.

Сегодня надо его принять.

Стягин позвонил.

Из двери высунулось бритое лицо Левонтия.

Из богадельни он временно перебрался к барину и, несмотря на свои большие годы, оказался очень полезным. Вадим Петрович не мог выносить глупого голоса и запаха сапог дворника Капитона. Тот употреблялся только для посылок, в комнаты его не допускали; но у Левонтия хватало ловкости и расторопности делать припарки, укутывать ноги больного, укладывать его в постель. Лебедянцев предлагал сиделку, но больной протестовал:

— Русская сиделка!.. Потная, грязная... Покорно благодарю!.. Лучше нанять лакея.

Лакея еще не нашлось подходящего. Левонтий справлялся со всем один и был этим чрезвычайно доволен.

— Проветрить бы воздух, — сказал ему Стягин.

— Форточку, батюшка, опасно открывать. Нешто уксусом немножко продушить...

— Ну, хоть уксусом.

Только Левонтий не вызывал в нем раздражения. С ним он мирился, как с единственным существом, у которого был «стиль», как он мысленно выражался, воспитанность старого дворового и нелицемерное добродушие.

Левонтий через четверть часа подал ему на подносе карточку.

Это был арендатор.

— Проси! — сказал Вадим Петрович приободрившись, но когда хотел переменить положение правой ноги, то чуть не вскрикнул от боли.

Вошел человек, еще молодой, рослый, вроде отставного военного или агента какой-нибудь заграничной фабрики, рыжеватый, с курчавыми волосами и усами, торчавшими вверх, очень старательно одетый. В булавке его светлого галстука блестел брильянт. Свежесть его щек и приятную округлость бритого подбородка сейчас же заметил Стягин.

— Имею честь представиться! — сказал арендатор, остановившись посередине комнаты, и по-военному раскланялся, стукнув сдвинутыми каблуками. — Прошу велико-

душно извинить — не мог явиться на той неделе, принужден был скоропостижно отлучиться из города.

Говорил он жестко и отчетливо, но не московским говором.

Стягин пригласил его, ослабевшим голосом, присесть к кушетке и пожаловался на свою внезапную болезнь, мешающую ему и теперь съездить в усадьбу.

— Да это несущественно, Вадим Петрович, — заметил арендатор. — Я ваше имение знаю как свои пять пальцев.

— Однако, — возразил Стягин, — мне самому нужно бы освежить...

Он не мог досказать от боли и сделал гримасу.

— Вам нездоровится? — спросил арендатор неискренним тоном.

— Да, вот напасть налетела в этой тошной Москве...

— Припадок подагры?

— Не знаю-с, — ответил Стягин. — И московский хваленый эскулап не сумел еще определить...

Боль отошла. Стягин воспользовался мину-

тами передышки и приступил к деловым переговорам.

— Как только поправлюсь, — начал он, — я побываю в деревне. Вы будете в тех же краях всю осень?

— Обязательно. Уезжаю отсюда дня через два, через три.

— Инвентарь вам известен... Я отдаю, и усадьбу в полное ваше пользование.

— У меня четыре помещичьих дома, — улыбнувшись, возразил арендатор.

— Вы можете отдавать на лето. Усадьба в пяти верстах от железной дороги.

— Как случится!

Тон господина Граца все менее и менее нравился Вадиму Петровичу. Когда дело дошло до определения суммы, он сам ее не обозначил сразу, а спросил, с желанием сделать уступку, какая будет решительная цена арендатора.

Тот покачал головой, выпятил губы и оправил галстук.

— Не меньше шести лет? — спросил господин Грац.

— Хоть десять, хоть двенадцать!

— Для меня достаточно и шести.

И, сжав губы характерным движением, арендатор небрежно посмотрел вбок и выговорил с расстановкой:

— Первые три года — по пяти тысяч, последние три — по тысяче рублей прибавки: шесть, семь и восемь.

— Пять тысяч! — почти закричал Стягин, и от этого нервного возгласа его боль совсем стихла; он перестал чувствовать, что у него распухли колена.

— Так точно!

— Да вы комик!

Он не мог не употребить это бесцеремонное выражение, и если бы не удержался, то просто крикнул бы господину Грацу: «пошли вон!»

— Может быть, — ответил тот, несколько не смутившись. — Это прекрасная цена. Вам известно, что цена земель пала чрезвычайно.

— Только не арендная!

— И арендная также. Мужики разбирают по хорошей цене, но при крупных сдачах какая же гарантия и какая будущность самого имени? Ведь это хищническое истощение

почвы — и больше ничего! Цены на хлеб па-  
ли до смешного. Я второй год не продаю ни  
ржи, ни пшеницы.

— Но ведь вы мне предлагаете одну треть  
того, что я могу получить.

— Сомневаюсь. Не получите и десяти, если  
и сами станете хозяйничать. А вы ведь желаете  
ликвидировать свои дела.

— Кто вам это сказал? — задорно возразил  
Стягин.

— Вы, в одном письме из Парижа, сами из-  
волили выразить это желание.

Вадим Петрович выбрал себя, весь по-  
краснел и тут только опять почувствовал в  
обоих коленях зуд и жжение.

— Все равно! — выговорил он упавшим го-  
лосом. — Такая цена невозможна!

«А если никто не будет давать больше, —  
спросил он себя вслед за тем, — что ты ста-  
нешь делать? Продавать за бесценок име-  
ние?»

И он успел ответить себе: «лучше про-  
дать».

— Торговаться я не имею привычки, — вы-  
говорил с усмешкой арендатор. — Найдете бо-

лее выгодную аренду — желаю полного успеха.

— И какова страна! — вскричал Вадим Петрович. — До сих пор нет ипотек![9] Вся Европа имеет ипотеки, а мы не додумались. Там на все определенная, известная цена. Как калач купить... А у нас...

— То Европа, а то мы! — шутливо сказал арендатор и положил ногу на ногу.

— Это... это...

Возвращение сильнейшей боли прервало его возглас.

Стягину захотелось выгнать вон господина Граца, выместить на нем неудачу своей поездки, надвигающуюся нелепую болезнь, бесплочь всех русских порядков, общее безденежье, падение кредита, скверную валюту, отсутствие цен на хлеб, неимение ипотек.

Если б не приход доктора, он не мог бы воздержаться от выходки. Самая наружность арендатора делалась ему невыносимой, и его франтоватость, брильянт на галстукe, прическа, цвет и покрой панталон.

Доктор вошел в самую критическую минуту, — грузный, рослый, еще не старый, с лицом приходского дьякона и с таким же басовым хрипом. Двубортный сюртук сидел на нем мешковато. Во всей фигуре было нечто уверенное в себе самом и невоспитанное.

— Это вы что выдумали? — заговорил он тоном бесцеремонной шутки. — Вам лежать, батенька, следует, а ноги-то у вас черт знает в каком положении...

Он подошел к кушетке и положил широкую ладонь на колени Стыгина.

Тот закричал:

— Осторожнее, доктор!

— Вон вы какая недотрога-царевна! Так бы и говорили...

Арендатор взялся за шляпу и проговорил своим деревянным голосом:

— Мы сегодня во всяком случае не покончим... Позвольте просить уведомить меня, когда вам будет удобнее. Только предупреждаю, что больше четырех дней не могу остаться в Москве.

— Прощайте, прощайте! — кинул ему Стягин почти так же болезненно, как он принял доктора.

— Мое почтение! — сказал арендатор, сделав общий поклон, и опять, по-военному, слегка пристукнул каблуками.

Но, оставшись с доктором, Стягин почувствовал себя беспомощным и подавленным этою плотною семинарскою фигурой. Доктор был ему противнее, чем арендатор. С тем можно было прекратить разговор и выпроводить, а этого надо выносить, да еще ждать от него выздоровления.

— Сами-то вы не сможете перебраться на

диван? — спросил доктор.

Стягин позвонил. Левонтий стал у двери, поглядывая разом и на доктора, и на барина.

— Ты, старичище, сможешь ли под мышки его взять?

Вопрос доктора резнул Стягина по нервам. Слово «его» в особенности показалось ему бесцеремонным.

«Этакое грубое животное!» — выбранился про себя Вадим Петрович и с оханьем стал подниматься сам с кушетки.

— Под мышки! Под мышки бери! — приказывал Стягин.

Но руки Левонтия задрожали от натуги; он взял барина под мышки, потянул к себе, но Стягин сделал неловкое движение и старик выпустил его.

Раздался острый крик. В правом колене нестерпимо зажгло.

— Вон как заголосил! Ну, так оставайтесь тут, коли так...

— Оставьте меня в покое! — продолжал гневно кричать Стягин.

— Я бы с моим удовольствием, — ответил все так же бесцеремонно доктор, — не у меня

лихая болезнь приключилась, а у вас...

— И вы ее даже определить не можете! — крикнул Стягин, переставший церемониться с доктором.

Он его сравнивал с парижскими известностями, к которым обращался несколько раз. Те, быть может, и шарлатаны, и деньгу любят, но формы у них есть, декорум, уважение к своей науке и к страданиям пациентов. А у этого кутейника ничего кроме грубости и зубоскальства не только над больным, но даже и над своею наукой, которую он ни в грош не ставит, рисуется этим и цинически хапает деньги за визиты и консилиумы.

— А вам легче от этого станет? С диагнозом вот так голосить будете или без диагноза — одна сладость!

Доктор говорил это, сидя на краю кушетки и раскрывая ноги Вадима Петровича, укутанные фланелевым одеялом.

— Пожалуйста, осторожнее!.. У вас руки холодные!..

На этот возглас больного доктор не обратил внимания и только скосил свой широкий рот в усмешку полного пренебрежения к при-

вередливости заезжего барина.

Он осмотрел обе ноги, и его толстые, жесткие пальцы начали ощупывать опухоль колена. Вадим Петрович крепился, когда доктор трогал колено левой ноги, но прикосновение к правому заставило его крикнуть и схватить за руку доктора.

— Будьте осторожнее! У вас не руки, а лапы! — закричал он, не сдерживая себя. — Вам четвероногих лечить, а не порядочных людей!..

В глазах доктора блеснуло желание обрвать привередника, но он только встал, широко развел руками и отошел к столу, где положил перед тем свою котиковую шапку.

— Этак, барин, неистовствовать нельзя-с, — глухо выговорил он. — В Париже, небось, прыгаете перед каждым штукарем-шарлатанишкой, а здесь ругаться изволите!.. Имею честь кланяться!

В эту минуту вошел Лебедянец. Левонтий, впустивший его, заглянул опять в дверь, испуганный криком Вадима Петровича.

— А, дружище! — встретил доктор Лебедянцева. — Ваш приятель изволил меня сей-

час коновалом обозвать... Я к таким фасонам не привык! Мы в Москве хоть и лыком шитые, однако и у нас есть своя амбиция...

— Что такое, что такое? — тревожно пожимаясь, спрашивая Лебедянцев, переходя от доктора к больному.

— Левонтий! — крикнул Стягин, — укутай мне ноги! Что это за варварство... все разворотить и оставить меня так.

Хныкающие звуки голоса показывали, что Стягина совсем уже забирала болезнь.

Левонтий бросился укутывать ему ноги. Лебедянцев задержал доктора у дверей и шепотом стал упрашивать его не сердиться на больного.

— Видите, как приспичило!.. Поневоле белугой запоешь! — говорил он, прерывая себя коротким смехом, который доходил до слуха Стягина и еще более гневил его.

— Мало ли что!.. Посылайте за кем хотите! Я не буду ездить, — отрезал доктор и шумно взялся за ручку двери.

И в передней Лебедянцев продолжал упрашивать его прислать кого-нибудь из своих ординаторов.

— Нет, батенька, — доносился до Стягина хриплый бас, — посылайте за кем хотите. Надо этих парижских-то мусьяков учить.

И скрипучие, тяжелые шаги слышались вниз по старой деревянной лестнице.

— Что же это, Вадим Петрович? Постыдись, братец! Из-за своего бабьего нервничанья лишился такого врача!

Стягин не дал приятелю закончить.

— Молчи! — крикнул он на него. — Этого кутейника я видеть не могу! Только у вас в Москве могут терпеть подобных неотесанных дубин!

— Ну, и валяйся!

— И буду валяться. Не трогай! — крикнул он на Левонтия. — Не умеешь! Господи, сиделку мне надо, больше никого!.. И той не найти в этом ужасном городе.

— Да кто тебе сказал, что не найти? — обидчиво возразил Лебедев. — Ты не просил достать. Да и сиделка ни одна не вытерпит, — так ты дуришь!

— Послушай, Лебедев, — больной выпрямился и сидел бледный, обливаясь потом, пересиливая боль, — послушай! Зачем ты мне

прислал этого костоправа, подлекаря? Разве можно выносить его тон? И ты его приятель!.. Он тебе говорит: дружище! Это твои приятели!.. Вот до чего ты опустился!.. Ты миришься со всею этою грубостью, со всем этим доморощенным свинством!

— Не ругайся, — перебил его Лебедянцеv. — Приехал сюда, так надо ладить с нами. Небось, вот с острым ревматизмом в Париж не перелетишь!

— Молчи, молчи! Вы здесь меня уморите; смотреть на вас, слушать вас — мочи нет!

И опять вся неудача его поездки в Москву, арендатор, трудность ликвидировать свои дела, внезапная болезнь, перспектива долгого лежанья наполнили его горечью и злостью.

— Дуришь! Точно истерическая бабенка! Противно и мне слушать, — выговорил Лебедянцеv и спросил вслед за тем: — На диван тебя перенести, что ли?

Вадим Петрович хотел что-то гневное ответить, но от боли закричал благим матом и впал в обморок.

Левонтий ахнул и от испуга заметался. Лебедянцеv заставил его перенести больного на

постель, и оба начали приводить его в чувство.

— Вот так натура, вот так натура! — повторял Лебедянцев, тыча ему в нос склянку с каким-то спиртом.

Вторую неделю лежит Вадим Петрович, уже не на диване, а на кровати, за ширмами. Его болезнь, после острых припадков, длившихся несколько дней, перешла в период менее мучительный, но с разными новыми осложнениями.

Лечит его другой доктор, Павел Степанович. Он знает его только по имени и отчеству; узнать фамилию не полюбопытствовал. Павел Степанович ладит с ним. У него добродушное, улыбающееся лицо коренного москвича, веселые глаза, ласковая речь, в манерах мягкость и порядочность. Он умеет успокоить и лечит, не кидаясь из стороны в сторону, любит объяснять ход болезни, но делает это так, чтобы больной, слушая такие объяснения, не смущался, а набирался бодрости духа.

Бодрости еще очень мало в душе Вадима Петровича. Всего больше удручает его постоянное лежанье. В груди он тоже стал ощущать боль и смертельно боится, что у него не ревматизм, а подагра, которая подбирается к сердцу, — и тогда конец.

Но не столько о смерти думает он, сколько рвется вон из Москвы, из России, и, как только ему получше и он может собираться с мыслями, он шепчет: «Ликвидация!»

Ликвидировать свои дела! Но как это сделать? Арендатора он упустил. Других жди. Покупщиков на дом тоже надо подыскать, не продешевить. Дом не заложен нигде, что по теперешнему времени большая редкость. Заложить и бросить, чтобы он стоял без дохода и только отягощал его бюджет ежегодными платежами процентов?

Болезнь затягивается так от погоды — кислой, без солнца, чисто петербургской; а потом пойдут морозы, нельзя будет носу показать на улицу, чтобы не схватить рецидива. Пошлют на юг. Вся зима пропадет даром, и надо будет опять приезжать сюда, ехать в имение, искать арендатора, искать покупателей на дом.

Сегодня Вадим Петрович проснулся, попробовал вытянуть правую ногу, испугался боли от малейшего неловкого движения и застыл в неподвижном положении.

В комнате играл уже свет на изразцовой

печке. Верх ее виден ему из-под ширмы. Свет пробился в боковую скважину между шторой и краем рамы. Но больному захотелось, чтобы штору подняли. Он позвонил слабою, сильно похудевшею рукой.

Теперь за ним, кроме Левонтия, ходил еще мальчик Митя, отысканный дворником, из каких-то учеников, смысленный и опрятный. Старик так и остался при больном барине, раздражал его своею медленностью и шампаньем, но минутами трогал своею преданностью.

Вошел Митя, черноволосый паренек лет четырнадцати, в коротком пиджаке. Он, по распоряжению Левонтия, носил темные валенки, чтобы не издавать никакого шума. Стягин велел ему приподнять штору в среднем окне и подать себе умыться. Он должен был умываться в постели, обтирал себе лицо и руки полотенцем, смоченным в воде с уксусом. Митя управлялся около него ловко, и больной ни разу на него еще не закричал.

— Вера Ивановна пришла? — спросил мальчика Стягин после того, как он, с его помощью, перебрался на диван, куда ему Левон-

тий подавал чай. Это передвижение он мог себе позволить не каждый день.

— Никак нет, еще не приходили.

Лебедянцев нашел ему чтицу, Веру Ивановну Федюкову. Она два дня исполняла и обязанность сиделки, когда ночью делались с ним припадки и надо было часто менять компрессы и беспрестанно давать лекарство. Теперь она приходит по утрам и остается целый день.

Вадим Петрович не сразу согласился на приглашение этой «девы», как он называл ее про себя; требовал простую сиделку. Лебедянцев долго убеждал его, говоря, что Вера Ивановна будет вдвойне полезна, что она ходила за больными, девушка простая и без малейших претензий, да, вдобавок, хорошая чтица на трех языках.

— По-французски, уж извини, парижского акцента у ней не окажется, — говорил Лебедянцев, — а читает прилично и толково.

Лебедянцев с Вадимом Петровичем ни в какие споры не вступал, больше не говорил ему с хихиканьем: «вот натура!» — и находил, что лечение идет успешно.

По утрам, во время питья чаю, — кофе доктор не позволяя больному, — Вадим Петрович слушал чтение газет.

Ровно в десять приходила его чтица.

— Который час? — спросил Стягин мальчика.

— Без четверти десять.

— Чаю!..

На диване ему приятнее лежать, чем на кровати, где столько пришлось выстрадать и столько приходило печальных мыслей. Сегодня ему гораздо лучше, нет жжения и колотья в полости сердца, и правою ногой он может полегоньку двигать.

Вадим Петрович оправил свой домашний костюм, причесался перед ручным овальным зеркалом и завязал на шее белый фуляр.

Чтица, в первые два дня, стесняла его. Он совсем отвык от русских женщин, особенно от таких, как эта Вера Ивановна. Гораздо лучше было бы ему иметь дело просто с грамотною сиделкой, а эта — из «интеллигентных» — так отрекомендовал ее Лебедянцев. Он и теперь еще не нашел с ней настоящего тона и ни о чем ее не спрашивает. Ему как

будто досадно за то, что она ухаживала за ним две ночи, что он при ней нервничал, плохо выносил приступы болей. Той интимности, какая устанавливается между больным и женщиной, ухаживающей за ним, он не искал. Но она так себя держит, что ему нечего особенно стесняться, читает не тихо и не громко, грамотно, выговаривает очень приятно. Во всем существе этой чтицы есть что-то мягкое, непритязательное и порядочное, на особый лад.

Вчера Вадим Петрович невольно сравнил ее с француженками. Двадцать с лишком лет провел он в обществе совсем других женщин. Те до сих пор кажутся ему единственными существами женского пола, в которых есть хоть что-нибудь занимательное, способное вызывать в мужчине хоть минутный интерес.

И как эта Вера Ивановна не похожа на ту парижанку, что осталась там, в Париже, поджидать его возвращения из Москвы! Она желала ехать с ним в Россию, но он отклонил это. Ей просто захотелось иметь над ним контроль на случай ликвидации его дел.

Связь их длится около десяти лет. Он чувствует; что ему не избежать отправления в мэрию, как только минует срок для нее, после развода с первым мужем, вступить в новый брак. Во Франции раньше трех лет нельзя; но в России он мог бы обвенчаться с нею, в крайнем случае, и теперь.

Неделю тому назад, когда болезнь схватила его так внезапно и сильно, Лебедянцева телеграфировал ей от его имени, и она дала ответную депешу, что выезжает немедленно. Вадим Петрович послал вчера новую телеграмму — удержал ее от поездки, извещал, что чувствует себя получше, и обещал в письме подробно рассказать ей ход болезни.

Эту вторую депешу он послал опять через Лебедянцева. Тому известна была его связь; но они о ней никогда не переписывались, да и здесь не говорили.

Сегодня надо было продиктовать письмо в Париж. Сам он еще не владел настолько правой рукой, — в сочленениях была еще опухоль, — чтобы написать большое письмо. Лебедянцева французским языком владел плохо, и вряд ли когда ему приходилось написать

десять строк под диктовку.

Надо попросить Веру Ивановну. Она должна правильно писать, судя по тому, как она читает. Вадима Петровича затруднял не вопрос о ее знании французского языка. Ему не хотелось вводить эту девушку в свою интимную жизнь. Положим, можно употреблять везде местоимение «вы» и называть свою сожительницу «mon amie», что он и делает при посторонних в разговоре. Но все-таки он испытывал некоторую неловкость.

Письмо следует продиктовать сегодня же. Необходимо вовремя предупредить Леонтину и настоять на том, чтобы она не приезжала сюда. Он жалел и о том, что первая его девушка была такая малодушная. Дело идет, кажется, к лучшему, да если б и явилось осложнение, теперь за ним есть хороший уход.

## VII

Чтица и добровольная сиделка Вадима Петровича и на этот раз пришла ровно в десять часов, хотя жила в Плетешках, на Разгуляе.

Ее рослая фигура, когда она отворяла половинку дверей, в неизменном темном платье, показалась Стягину гораздо стройнее, чем в предыдущие дни. Ее густые, золотистые волосы были красиво причесаны. Лицо, несколько полное, с приятным овалом, коротким носом и большими серыми глазами, тихо улыбалось, как бы без слов говорило приветствие больному.

Вадим Петрович подумал:

«Почему я ее находил неуклюжею и некрасивою? Она очень видная особа...»

Федюкова держала под мышкой две газеты. Она их покупала по дороге.

— Доброго здоровья, Вадим Петрович, — выговорила она низким, слегка вздрагивающим голосом. — Я с холода, позвольте мне здесь посидеть, я отсюда и читать могу.

— Чаю хотите? — спросил Стягин, как де-

лал это каждый раз.

Этот вопрос о чае начинал их утро. С такими обязательными фразами Стягину было ловчее. Вера Ивановна не говорила ничего лишнего и как бы дожидалась всегда вопроса, но тон ее ответов он находил очень порядочным, и звук ее голоса не раздражал его.

Он знал, что она ему скажет, входя: «доброе здоровья, Вадим Петрович», и уходя: «всего хорошего» — чисто московскую поговорку, которую, еще в его студенческие годы, употребляли многие из товарищей.

Левонтий сам подавал Федюковой чай, всякий раз кланялся ей на особый манер и тихо выговаривал:

— Здравствуйте, матушка-барышня!

Он с нею ладил. При ней он становился расторопнее, даже ночью. В ту ночь, когда Стягину было особенно тяжело, Вера Ивановна показала, как она умеет ходить за больным, какой у ней ровный характер и сколько находчивости.

— Барышня первый сорт! — доложил о ней Левонтий барину, улучив минуту. — Даром что из нынешних. Одначе не стрижется и во-

круг себя опрятна, и души отменной... это сейчас, батюшка, видно.

Левонтий подал Федюковой чай. Она развернула один из газетных листов, принесенных с собою.

— Вера Ивановна, — окликнул Стягин и поправил на шее фуляр.

— Что угодно?

Голос ее положительно нравился ему, и сдержанно-мягкая манера говорить. Он думал в эту минуту о своей парижской подруге и необходимости продиктовать письмо к ней, и ее голос — картавый, вечно охрипый — слышался ему очень отчетливо, И как мог он выносить его больше десяти лет?

Этот вопрос заставил его гораздо быстрее, чем он говорил, ответить чтице:

— Вы потрудитесь прочитать мне одни депеши... Остального текста пока не надо!

— Очень хорошо, Вадим Петрович.

И звук, каким она произносила его имя, нравился ему сегодня больше, чем в предыдущие дни.

Депеши были скоро прочитаны и показались крайне неинтересными: все больше про

какие-то безвкусные прения в венгерском сейме и о предстоящих поездках каких-то коронованных особ.

— Вера Ивановна, — остановил чтицу Стягин, — у меня к вам есть просьба...

— Что прикажете?

— Вас не затруднит написать письмо под мою диктовку?

— С удовольствием.

Она взглянула на него с выражением полной готовности; но в ее взгляде не было ничего заискивающего. В этой девушке чувствовалось большое внутреннее достоинство.

— Только это... по-французски, — сказал он осторожно.

— По-французски, — повторила она и немного задумалась. — Боюсь, будут ошибки...

— Это не важно!

— Письмо не официальное?

— Нет, нисколько!.. Чисто дружеское...

Вадим Петрович немного запнулся...

— Попробую... Вы не взыщите...

— Почерк у вас разборчивый?

— Кажется.

— Это главное.

И мысленно он добавил:

«Можно так продиктовать, что она не догадается, к кому обращено — к мужчине или к женщине, а потом я карандашом выведу в начале письма: „Ma chère amie“».[10]

Вера Ивановна села к письменному столу и открыла дорожный бювар Стягина, где лежали листки матовой бумаги и конверты с его монограммой.

— Я готова, Вадим Петрович, — выговорила она и обмакнула перо.

Стягин весь подобрался и немного даже покраснел. Он искал первую фразу письма.

— Je vous annonce, chère amie,[11] — начал он и тотчас прервал себя.

Слова «chère amie» вылетели непроизвольно, и это сильно раздосадовало его. Он их произнес с чисто французскою отчетливостью — протянул последний слог в слове «amie», с ударением на «е». Ясно стало, что он пишет женщине.

— Chère amie, — повторила Вера Ивановна. — Я написала...

Было уже бесполезно искать каких-нибудь

уловок. Это его успокоило, и он продолжал диктовать. Федюкова, конечно, могла подумать, что он пишет своей возлюбленной и сожительнице, — она знала, что он не женат, — но в тоне его письма ничего не было такого, чего бы нельзя написать близкой знакомой или родственнице.

Вадим Петрович несколько раз повторил в письме, что ехать ей в Россию нет теперь необходимости, что ему лучше, и он надеется, через две-три недели, быть в Париже. Диктовал он с умышленною медленностью, и Федюкова несколько раз говорила, поворачивая голову в его сторону:

— Есть!

Когда письмо было кончено, Вадим Петрович сказал чтице:

— Адрес после...

Ему не хотелось, чтобы она узнала имя, фамилию и адрес той женщины.

— Очень вам благодарен, — сказал он с ударением и весь вытянулся.

В ногах он чувствовал маленькую неловкость, но общим своим состоянием был сегодня особенно доволен.

— Теперь почитаем еще немного, если вы не устали, Вера Ивановна.

— Нисколько!

Она взяла опять газету. Стягин опустил голову на подушку и закрыл глаза. Русское чтение вслух, от которого он отвык, вызывало в нем дремоту, не достаточно будило его мозг.

— Вера Ивановна! — остановил он ее. — А если бы вы почитали мне по-французски?

— Охотно, Вадим Петрович, да не знаю, как вам нравится мое произношение. Вы — парижанин, и я так не сумею произносить, как вы.

Она тихо рассмеялась.

— Вы хорошо читаете!.. Вон там, на столе, книжка в зеленоватой обложке... Извините, что это будет для вас суховато немножко.

— Вот эта? — спросила Федюкова и показала ему, с места, книжку в зеленоватой обложке.

И, поглядев на заглавие, она выговорила, как бы про себя:

— По психологии. Это очень интересно...

— Имя автора вам известно? — спросил осторожно Стягин.

— Да... Я читала его другие вещи... в таком же роде...

Федюкова выговорила это с опущенными ресницами, серьезно, без всякой рисовки.

— Вы интересуетесь психологией? — спросил Стягин оживленно.

— Очень. Только новые книги трудно доставать, а покупать... для меня дорого... Вы позволите начать?

— Сделайте одолжение!

Выговор ее был слишком мягкий, но приятный. Она делала ошибки в выговаривании гласных, и звук фраз выходил русский. Но в общем он оставался доволен и очень был рад тому, что она владеет французским языком гораздо больше, чем он ожидал.

Некоторые термины заставляли Федюкову останавливаться, и она спрашивала их объяснения, но это случалось редко.

И после каждого объяснения, которое несколько не утомляло его, Вадим Петрович обращался мысленно к той, кому он продиктовал письмо.

Та до сих пор чужда всякого научного интереса. Для нее серьезная книга только «un

bouquin».[12] Она находит пустым занятием чтение всяких таких «bouquins» и смотрит на него, как на лентяя, не знающего, как занять свои досуги. Когда ему случалось заболеть в Париже, она еле-еле способна была прочитать ему несколько столбцов из «Figaro», [13] и ее чтения — картавого, трескучего и малограмотного — он почти не выносил, даром что у ней парижский акцент.

И опять он подолгу останавливался, смотря вкось, на фигуре Веры Ивановны, ее бюсте, свежести лица, прекрасных волосах.

«Уже не девочка, зрелая девица, а как свежа!» Та, кому он сейчас диктовал, давно уже красится на разные лады. Да он не помнит, чтобы она когда-нибудь была свежа и не подкрашена. И волосы у ней не свои. И душитесь она нестерпимо сильно. Войди она сейчас сюда — он совсем бы не обрадовался; сейчас между ними пошли бы раздраженные разговоры, и он, наверное, провалялся бы больше, лишившись своего теперешнего покоя.

## VIII

Визитов доктора Вадим Петрович дожидался с удовольствием.

Вот и сегодня, когда Вера Ивановна ушла, по его поручению, на Кузнецкий — купить книгу у Готье и еще чего-то у Швабе, — он приветливо поздоровался с Павлом Степановичем Яхонтовым.

— Добропорядочно ведете себя, — говорил доктор, присаживаясь на край кушетки, — добропорядочно. Если так пойдет — через неделю на выписку можете.

— А морозы? — спросил Стягин и указал движением головы на окно.

— Морозы? Ничего! В карете будете ездить.

— Да, по Москве... А если понадобится отправляться в деревню?

— Увидим, увидим!.. Больших морозов еще не будет, бог даст!.. А пока надо о ближайшем думать, вперед труса не праздновать. Теперь за вами образцовый уход... Барышня-то у вас, Вера-то Ивановна — золото... Приятель ваш чистое вам благодеяние оказал.

— Вы ее знали и прежде? — спросил с ин-

тересом Стягин.

— Как же... через Лебедянцева. Особа достойнейшая. Вся семья ею держится... Мать почти слепая. Сестренка в гимназии, брат — студент. Вот она при вас почти целый день, а успевает еще урок дать и по ночам работает.

— И как свежа!

— Хотя питание, наверное, было всегда плохое... Крепыш!.. Выносливая, героическая натура... Хорошего бы мужа... Всякого осчастливит. Да нынешние молодые люди на женитьбу туги.

— Она уж не очень юна? — тоном вопроса выговорил Стягин.

— Лет двадцать семь-восемь — не меньше.

— А-а, — протянул Стягин, и ему стало почему-то приятно, что Вере Ивановне под тридцать, при такой свежести, красивом, молодом лице и видном стане.

Ему захотелось даже успокоить доктора насчет того, как Вера Ивановна теперь питается у него. Он оставлял ее и обедать. Левонтий нашел старика-повара, ходившего к нему в богадельню, умеющего отлично готовить для больных; но Вера Ивановна получала

полный обед.

— Да, редкая девушка! — выговорил доктор и погладил себя по крутому лбу.

В первый раз Стягину так легко было вести разговор с москвичом, испытывать на себе его добродушие и славянскую мягкость и сочувственно думать о женщине, которая так умело и приятно ходит за ним.

Как раз в эту минуту тихо отворилась дверь, и в комнату вошла Федюкова.

— А! Вера Ивановна! — шумно встретил ее доктор, встал и крепко потряс ее руку.

И Стягин протянул было ей свою, но она сказала ему:

— Я с холоду, Вадим Петрович.

— Откуда бог несет? Из дому? — спросил доктор.

— Нет, я ездила на Кузнецкий, а оттуда за-вернула на минуту к Лебедянцевым...

Лицо Веры Ивановны затуманилось. Стягин это тотчас же заметил:

— Почему он пропал? Глаз не кажется?

На этот возглас Стягина Федюкова, обращаясь больше к доктору, потише выговорила:

— У них опять большая беда...

— Что такое? — вскричал Стягин. — Отчего же он мне не даст знать?.. Вот чудак!..

— С Марьей Захаровной неладно? — уверенно спросил доктор.

— Да, Павел Степанович... припадки сильнее прежних, и так неожиданно.

— Кто же позван?

— Я не знаю, как его фамилия.

— Большая ирритация, [14] значит?

— Большая... Я послала сестру Сою к ним... При детях бонна такая неумелая. Дмитрий Семеныч не знает, как ему и разорваться.

— И мне ничего не дал знать! — вырвалось у Стягина, и он завозился на кушетке.

Ему стало досадно на приятеля за такую скрытность и как бы немного совестно перед Федюковой за то, что он ничего не знает про беду, случившуюся с Лебедянцевым.

— Вы не заедете ли, Павел Степанович? — тоном полувопроса выговорила Федюкова.

Стягин глядел на ее немного побледневшее лицо и на выражение больших глаз. Она сдерживала волнение. И вид ее душевного расстройства трогал его.

— Как же, как же, — зачастил доктор, —

сейчас поеду. Если пригласили Коровина — она в хороших руках.

— Кажется, я не знаю наверное.

— Пожалуйста, доктор, — остановил его Стягин, — скажите Лебедянцеву, чтобы он дал мне знать, что у него, и завернул бы, когда можно будет.

— Ладно, ладно... А вы — молодцом! Никакими новыми лекарствами пичкать вас не следует... Наружные средства только... Завтра я не буду. Никакого осложнения не предвидится. Только лежите поспокойнее и не сердитесь на то, что попали в ловушку!..

Веселый смех доктора разнесся по комнате.

Его проводила в переднюю Федюкова, там о чем-то тихо поговорила с ним и тотчас же вернулась.

Любопытство Стягина было возбуждено, — именно любопытство, а не сердечное участие к приятелю. Он продолжал досадовать на Лебедянцева, и ему как бы неприятно сделалось от того, что Федюкова с таким расстроенным лицом говорит о беде, постигшей его приятеля.

— Что такое у Дмитрия Семеныча? — спросил он, как только Федюкова показалась в дверях.

Она не сразу ответила, села у стола и тихо опустила руки по коленам.

— Вы разве совсем не знаете Марью Захаровну?

— Жену Лебедянцева?

— Да.

— Видел... очень мало...

— Давно?

— Не помню, в один из моих приездов в Москву, лет больше пяти тому назад... Он только что женился тогда...

Вспомнилась ему, когда он говорил эти слова, тесная квартира Лебедянцева где-то на Садовой. Жена показалась ему «кухаркой», он нашел, что у нее ужасный тон и что жениться на такой некрасивой и скучной женщине — совершенная нелепость. Потом он никогда о ней не думал и в редких письмах к приятелю ни разу не передавал ей даже поклона.

— Это — превосходная женщина! — начала Федюкова и оправила рукой волосы жестом, который Стягин находил очень краси-

ВЫМ.

— Очень уж, кажется, незанимательна.

— На чей взгляд, Вадим Петрович. Чудесной души и верный товарищ мужа... Ведь у них четверо детей!

— Зачем столько?.. Разводить нищих!..

Федюкова поглядела на него с недоумением, и взгляд ее серых, вдумчивых глаз смутил его.

— Вы возмутились тем, что я сказал? — спросил он с усмешкой.

— Как же быть? — выговорила она.

Эта фраза звучала странно в устах девицы, но Вера Ивановна выговорила ее спокойно и целомудренно.

— Положим! — поспешил он оговориться. — Так что же с ней? Какие припадки?

— Когда она... в таком положении, — и это Федюкова выговорила совершенно просто, — на нее находит психопатическое состояние.

— С ума сходит? — резко спросил Стягин.

— Временно... Иногда припадки неопасны, тихое расстройство... Она хохочет, валяется по полу, как маленький ребенок. А на этот раз... гораздо сильнее... Вчера, говорят, был

ужасный припадок... Так жаль!

И она смолкла. В голосе слышались слезы.

Стягина начало разбирать какое-то жуткое чувство. Ему впервые делалось стыдно за себя перед московским приятелем. Никогда он не спросил его про жену, не знал даже, сколько у него детей, двое или четверо, каково приходится ему выносить тяготу трудовой жизни с большим семейством.

— Жаль и Дмитрия Семеныча! — продолжала Федюкова. — Он все смеется и балагурит, а какую выдержку надо иметь! И такого честного, знающего человека выгнали со службы!

— Когда?

— В прошлом году.

— Да ведь он мне говорил, что служит где-то.

— В одном частном обществе... И должен мириться с ролью... конторщика.

По белому и красивому лбу Веры Ивановны прошла тень.

И по этой части Стягин оставался совершенно равнодушным: хорошенько не рас-

спросил приятеля, сколько получает жалованья, хватает ли ему на жизнь или он принужден перебиваться.

«Ведь я же заболел! — поспешил, оправдаться про себя Стягин. — Когда же мне было вступать с ним в интимные разговоры?.. Я белугой вопил в первые дни».

Но он сообразил вслед за тем, что Вера Ивановна могла многое в его отношениях к приятелю и товарищу найти слишком черствым и брезгливо-барским.

Ему стало не по себе, и он замолчал, не зная, как ему начать себя оправдывать.

Протянулась пауза.

— Дешеша, батюшка!

Левонтий внес депешу на подносе, как дворовый, знающий хорошие порядки.

— Барышня, на расписочке расписаться надо, говорит телеграфист.

— Откуда? — тревожно спросил Стягин, когда Левонтий ушел с распиской.

Она подала ему нераспечатанную депешу.

— Вы увидите наверху... Угодно, я прочту?

— Нет, я сам могу...

У него засадило сердце. Ничего приятного

он не ждал.

Депеша была из Берлина. В ней он прочел: «Arrive Moscou dans deux jours. — Embrasse. Léontine».[15]

— Ах ты, господи! — не воздержался он и даже всплеснул руками.

Приезд его подруги вместо радости принесил с собою очень явственную досаду.

# IX

Сутки протекли для Вадима Петровича не очень спокойно. Лебедянцев не пришел, а его-то и нужно было. С ним он мог перетолковать о приезде своей подруги, посоветоваться, где и как ее устроить.

Первая мысль была поместить ее в гостинице, но поблизости никаких отелей он не знал. Да она вряд ли бы и согласилась на это. Вероятно, она привезет с собой горничную; для той тоже нужна комната. Наверху, в мезонине, где он лежал, можно было их кое-как поместить, но не хватало кроватей и постельного белья.

Он распорядился, однако, чтобы те комнаты протопили и почистили. Левонтий как будто о чем-то догадывался, и, когда Вадим Петрович спрашивал его насчет кроватей, старик развел руками и выговорил:

— Ежели для барыни какой, так там, изволите знать, нет никакого приспособления.

С Верой Ивановной Стягин как бы избегал разговора и тотчас же после обеда предложил ей поехать к Лебедянцеву, узнать, в каком со-

стоянии его жена, и попросить его побывать на другой день хоть на минутку. Он отправил свою чтицу, чувствуя, что если она останется весь вечер, то, в антрактах между чтением, он непременно должен будет предупредить ее о приезде Леонтины, а может быть, не удержится и скажет что-нибудь лишнее.

Этот приезд решительно смутил его и даже пугал. Устройство в том же мезонине двух парижанок перевернет все вверх дном. И Леонтина, и ее горничная будут шуметь, переговариваться из одной комнаты в другую своими картавыми, резкими голосами. Ни та, ни другая не понимают ни одного слова по-русски и за каждым вздором будут бегать к нему. Единственным средством наладить все это являлась Вера Ивановна, но захочет ли она остаться? Во всяком случае, с ней необходимо поговорить откровеннее, чем бы он желал.

Вечер протянулся для него с несносным чувством одиночества. И чем больше он думал о том, как устроить здесь Леонтину, тем яснее делалось для него, до какой степени он мало радуется свиданию с ней. Вот уже десять лет, как они сошлись, но никогда не жили

под одною кровлей. Даже и на водах, на морских купаньях, куда езжали довольно часто, они останавливались всегда в разных отелях. В сущности, только этим путем и могли они кое-как ладить. Обыкновенно они или завтракали вместе, или обедали. И очень часто, по крайней мере через день, выходили у них мелкие и крупные ссоры. В ее присутствии им овладевало даже постоянно тайное раздражение; всего больше от ее тона и привычки обо всем говорить уверенно, готовыми фразами, как будто она преисполнена всевозможных познаний. А между тем она совершенно невежественна, и все ее умственные потребности сводятся к чтению, по утрам, «Petit Journal».[16] Потом, не мог он выносить ее пренебрежительного, доходящего до цинизма, отношения к мужчине вообще. Сколько раз возвращался он от нее до нельзя взбешенный ее манерой третировать его. Кроме вульгарности натуры, в этом было и еще нечто, общее француженкам: точно будто она вымещала на нем все то, что ей приводилось терпеть от других мужчин.

Длинный ряд месяцев и годов проходил

перед ним, и почти ни одного проблеска света и радости, теплого сочувствия или страстной вспышки. Она ему нравилась своим телом, туалетами, условным кокетством в первое время их связи, и очень скоро он затянулся в самую обыкновенную привычку. Разрывать не было повода, потому что он не встретил ничего более привлекательного. Она была не первая встретившаяся кокотка, а нечто вроде дамы, не живущей с мужем, разъехавшейся с ним по определению суда. Подробности этого процесса он не проверял по газетам. Разумеется, по ее рассказам выходило, что муж был ужаснейшее животное, проел ее приданое, развратничал, и ей ничего не стоило выиграть процесс. Стягин никогда не спрашивал себя: «полно, так ли все это?» — и был доволен тем, что муж больше не появлялся и никаких не всплывало осложнений, в виде детей.

Ревности он к ней не чувствовал. Помнится ему, что года через полтора после их сближения стал он замечать, что она сделалась гораздо мягче, чаще выходила со двора, очень молодилась. Быть может, она его обманывала

и тогда, и позднее, но он не хотел волноваться из-за этого. С годами сожителство приняло характер чего-то обязательного, и, после формального развода по новому закону, она, видимо, начала готовиться к вступлению с ним в брак.

Сюда она явится как жена. Здесь ей не перед кем скрываться. Если болезнь его затянется, она этим непременно воспользуется.

И на другой день утром Вадим Петрович перебирал все те же воспоминания, переживая свою чтицу. Она пришла с известием, что жену Лебеяднцева должны были перевезти в лечебницу, а сам он заедет, как только немножко управится дома.

— Вы очень расстроены, Вера Ивановна, — сказал ей Стягин. — Вас, может быть, тянет туда? Дети остались без присмотра матери... А вы, кажется, принимаете в них такое участие?

— Мне очень их жалко, — ответила она сдержанно.

— Так вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Я могу и поскучать... Теперь мне полегче...

— Я буду навещать их, Вадим Петрович, с

утра, по дороге к вам.

— Знаете что, Вера Ивановна, чтобы вас немножко рассеять, позвольте дать вам маленькое хозяйственное поручение?

— Очень рада...

— Да вы со мною все как-то церемонитесь; вероятно, считаете меня великим эгоистом. А я, право, готов принять участие в беде Лебедянцева.

Она промолчала и немного исподлобья взглянула на него.

— Сколько же он должен будет платить за жену?

— Не меньше ста рублей в месяц.

— А жалованье у него какое?

— Вряд ли он зарабатывает более двухсот рублей.

— Только он чудак! Ничего не напишет!

— Дмитрий Семенович очень горд... Вы разве его не знаете?

Этот вопрос вызвал в Стягине совершенно новое для него желание: защитить себя немного в глазах этой девушки, вслух разобрать свои отношения к московскому приятелю.

— Видите, Вера Ивановна, — заговорил он особенно мягко, — главное между людьми — найти настоящий тон. Вот я вас знаю всего какую-нибудь неделю, а нам, кажется, совсем не трудно ладить друг с другом. Признаюсь, когда Лебедянцев предложил мне ваши услуги, я боялся, что мне это будет очень стеснительно... Знаете, я отстал от русских женщин и не совсем одобряю теперешний жанр наших девиц. Однако, мы с вами ладим. А Лебедянцев, хотя и товарищ мой по университету, но, живя здесь, в Москве, выработал себе невозможный какой-то тон, так что у меня не выходит с ним никогда хорошего товарищеского разговора. Он меня ежесекундно шокирует своим хохотом, прысканьем, прибаутками.

— Может быть, он вас оттого и раздражает, Вадим Петрович, что вы от нашей московской жизни отстали. Она тихо усмехнулась.

— Может быть, — повторил Стягин. — Я понимаю, что и Лебедянцев отстал от меня и стесняется говорить со мною о своих делах. Вот вы бы и помогли мне.

— Я готова, Вадим Петрович...

— Вы такая милая, — и он протянул ей руку, — что я вас попрошу еще об одном одолжении. Видите ли, я ожидаю приезда из Парижа той особы, к которой еще третьего дня диктовал вам письмо... Она должна быть здесь послезавтра. В отеле устроиться ей неудобно: она не знает языка, да и отсюда далеко...

— Конечно, — тихо выговорила Федюкова.

Он был очень рад, что так ловко обошел необходимость выяснить, кто такая эта особа. Вера Ивановна и тут показала, что в ней много такта, не позволила себе никакого лишнего вопроса и всем своим тоном дала почувствовать, что он может с ней говорить все равно как бы с приятелем-мужчиной.

— Лишняя комната здесь есть, но недостает кое-чего: кроватей, например, умывальных столиков...

— А сколько кроватей нужно? — спросила Вера Ивановна.

— Две: одну для этой дамы, другую — для ее горничной.

Он мог бы, вместо слов: «этой дамы», сказать: «для моей невесты» или что-нибудь в

этом роде, но не чувствовал уже надобности в таком обмане, хотя тут не было бы большого обмана: Леонтина считала себя его невестой, и теперь более, чем когда-либо.

— Я с удовольствием, Вадим Петрович.

— И вы можете это все закупить в один день?

— Зачем же покупать? — возразила она. — Можно будет достать напрокат где-нибудь на Сретенке или в городе.

Она что-то такое соображала, и выражение ее лица в эту минуту очень ему нравилось.

«Славная девушка, — думал он, — дельная и кроткая!»

Дельная и кроткая! Два свойства, которых он совсем не видал в своей подруге. Его француженка была жадна на деньги, экономничала в пустяках, но тратила зря на туалеты, не спросясь его, покупала часто плохие процентные бумаги и глупо играла ими на бирже. И от впечатления кротости в женском существе он совсем отстал, живя в Париже; не замечал его решительно нигде, разве на сцене, в пьесах, в игре сладковатых и манерных наивностей.

— Сколько же вам на это нужно денег, Вера Ивановна? — весело спросил он.

— Сразу я не могу сказать, Вадим Петрович... Позвольте мне съездить, узнать... Вам на много времени?

— Да как это сказать? Если мое, лечение пойдет хорошо... доктор обещает, что через две недели я буду совсем на ногах... Во всяком случае, надо на месяц.

— Ну, вот и прекрасно! Поживете у нас, — сказала Федюкова и ласково поглядела на него.

— Но у меня есть еще другая к вам просьба... Если она вам не понравится, вы откажитесь.

— Что такое? — с живостью спросила она.

— Лебедянцев теперь так расстроен, что на него рассчитывать я не могу... Не будете ли вы так любезны встретить приезжих на вокзале? Вы говорите по-французски... А то они совсем потеряются.

— Я с удовольствием...

Вадиму Петровичу во время разговора пришла эта комбинация: послать Федюкову на встречу Леонentine, так, чтобы она сразу сдела-

лась ей необходима. Это отведет всякие подозрения и устранил на первых же порах ненужные разговоры. Вместе с тем он покажет этим, что особу, едущую из Парижа, принимает он как порядочную женщину, а потом все уладится.

И когда Вера Ивановна, почитавши ему с полчаса, отправилась по его поручению, ему было приятно сознавать, что он не один в Москве, что около него есть молодое существо, на которое можно будет опереться в неизбежной борьбе с парижскою подругой.

# Х

Было уже около одиннадцати часов утра... Вадим Петрович сидел на кушетке с ногами, укутанными толстым пледом. По комнате вдоль и поперек ходил Лебедев. Через полчаса должна была вернуться с железной дороги карета, в которой поехала встречать Леонтину Вера Ивановна.

Посещению приятеля Стягин обрадовался, расспрашивал его о болезни жены, попенял за то, что тот с ним церемонится, предложил ему занять у него.

— Все обойдется, — говорил Лебедев, прихлебывая чай, — доктор обнадеживает...

Но он больше уже не хихикал. Видно было только, что ему не хочется говорить о своих стесненных обстоятельствах.

— Однако, — почти обиженным тоном возразил ему Стягин, — пора тебе подумать о более прочном положении. Я, братец, ничего не знаю хорошенько ни про твою службу, ни про то, что ты получаешь.

— Какой же толк будет, если я начну тебе изливаться? — заговорил опять обычным

шутливым тоном Лебедянцева. — Моей судьбы ты устроить не можешь; связей у тебя в России нет, да и я не гожусь в чиновники. Приехал ты сюда, чтобы ликвидировать; стало быть, вот поправишься, все скрутишь и — поминай как звали! Больше мы с тобой на этом свете и не увидимся! В Париж мне не рука ехать...

— Ликвидировать, ликвидировать! — повторил Стягин, и это слово почему-то ему не понравилось. — Еще не так скоро это делается. Во всяком случае, тебе стыдно со мною церемониться. Все, что могу...

— Об этом после, — перебил его Лебедянец и присел к столику, стоявшему около кушетки. — А ты вот что мне скажи... Только уговор лучше денег: коли это щекотливый вопрос, так и не нужно...

— Что такое? — оживленно спросил Стягин.

— Эта барыня, что сейчас приедет... Я ведь, не знаю, ты со мной переписки не вел... Она на каком положении?

Стягин немножко поморщился и выговорил суховато:

— Хочешь французское слово?

— Говори, коли по-русски нет подходящего.

— Это то, что французы называют un collage.[17]

— Понимаю... И длится давненько?

— Да, уже лет десять.

— Стало быть, подходите друг к другу... Вот и в Россию поскакала... это все-таки доказательство привязанности.

— Не знаю, — протянул Стягин.

— Неужели один расчет? А я было, признаюсь, думал, что ты и ликвидировать-то хочешь, чтобы конец положить... и законным браком.

— Она не откажется. Только ей во Франции еще нельзя, как разведенной жене, вступать в новый брак раньше трех лет.

— Так вот оно что!.. Да ведь если ты на ней женился бы по французскому закону здесь, в России, — это будет недействительно. Тогда и в самом деле следует ликвидировать, все обратит в деньги. А жаль, любезный друг, что ты так торопишься... безбожно продешевишь все. Имение прекрасное. И дом этот, если за

него взяться, переделать на несколько квартир и на дворе выстроить большой жилой флигель, — доход хороший!

— Об этом мы потолкуем, — сказал Стягин. — Я, в самом деле, кажется, слишком заторопился. Вот и с тобой толком не посоветовался, а ведь у тебя должна быть масса практических сведений. Ты и по городскому хозяйству служил...

Стягин не договорил и, повернувшись лицом к приятелю, спросил его:

— Ты за Веру Ивановну на меня не в претензии?

— По какому поводу?

— Да вот что я послал ее встретить Леонтину? Она, кажется, девушка без предрассудков. Я дал ей понять, что жду женщину, близкую мне... как бы это сказать?..

— На правах жены, что ли? — подсказал Лебедев.

— Пожалуй.

— Этак бы лучше и назвал. Какое кому дело здесь-то добираться — законная она жена или нет? Если хочешь, я Вере Ивановне так и представлю дело... Она действительно без

предрассудков...

— И все-таки, как бы не обиделась! — с видимою тревогой выговорил Стягин. — Боюсь, что выйдет путаница: ведь они друг друга не знают... Я ей показал портрет, описал фигуру и лицо горничной...

— Вера Ивановна узнает их... Только как же ты, Вадим Петрович, думаешь оставить ее при себе в чтицах?

— Я бы очень желал.

— А твоя... сожительница как на это взглянет? — спросил Лебедянцев и тихо рассмеялся.

— Я не знаю! Но ей самой присутствие такой девушки полезно... если Вера Ивановна будет так любезна — поездить с нею по городу; да и мне, пока у меня еще в руках ревматическая опухоль, всего приятнее было бы воспользоваться ее услугами.

— У тебя теперь будет даровая чтица.

— Кто? Леонтина? Меня ее манера читать раздражает.

Стягин посмотрел на часики, стоявшие около его изголовья, и позвонил.

— Левонтий Наумыч, — сказал он вошед-

шему старику, — все ли теперь готово к приему барыни?

Слово «барыни» Стягин выговорил без запинки.

— Все, батюшка, Вадим Петрович. И девушка здесь находится с раннего утра.

Наумыч нанял накануне горничную для исполнения черной работы. Сам он принарядился и, вместо долгополого пальто, надел сюртук, хранившийся у него в сундуке, старательно причесал волосы и лишний раз выбрился. Он догадывался, что барин ждет не жену, а просто «сударушку», но говорил о ней, как о настоящей барыне.

— Стол накрыт, там, в большой комнате? — спросил Стягин. — И к завтраку все готово?

— Как же, батюшка. Кофей, масло, яйца всмятку, котлеты жарятся. Все в аккурате. Да вот, никак, и они пожаловали...

Левонтий, хоть и жаловался, что тут на одно ухо, однако, расслышал звук колес по подмерзлой мостовой. Санный путь еще не стал, и на дворе была резкая, сиверкая, очень холодная погода.

— Ну, иди встречать! — крикнул Левонтию Стягин, и сам пришел в некоторое возбуждение.

— Прямо сюда привести их? — спросил его Лебедянцев, обдергивая свой серый пиджак.

— Только бы они холоду не напустили сразу... Шепни Вере Ивановне, чтобы она сейчас не уходила; мне нужно с ней условиться насчет завтрашнего дня, — послал Стягин вдогонку Лебедянцеву, дошедшему до двери на площадку.

На лестнице уже раздавались знакомые Вадиму Петровичу голоса. Хриплый голос Леонтины и высокий, жидкий фальцет ее горничной Марьеты — особы для него довольно ненавистной. Это была уже пожилая девушка, лукавая, жившая больше пятнадцати лет у своей госпожи; она знала всю подноготную в ее прошедшем, держала ее в руках, дерзила Стягину и давала ему очень часто понять, что он не стоит ласки ее госпожи, что ему давно следовало бы поместить их обоих в своем завещании — «*les coucher dans son testament*», [18] что он не желает «*faire largement les choses*» [19] и совсем не похож на то, чем, в ее

воображении, должен быть «un boyard russe».  
[20]

Дверь широко распахнулась, и Стягин увидел свою парижскую подругу, за ней ее служительницу: Лебедянцев и Вера Ивановна остались в передней, куда дворник Капитон, мальчик Митя, извозчик и еще кто-то начали вносить один за другим баулы, сундуки, мешки и картонки, всего до четырнадцати мест. Перевезти их понадобилось на трех извозчиках, кроме четырехместной кареты.

— Bonjour, mon ami! [21] — раздался оклик Леонтины, и она скорым шагом подошла к кушетке, укутанная в боа, но в очень легкой заграничной шубке и в шляпке с цветами.

От нее пахнуло на больного морозным воздухом, и он сделал инстинктивное движение руками, как бы желая оттолкнуть ее.

Это была сорокалетняя, толстеющая женщина, с помятым лицом, коротким носом и большими зеленоватыми глазами. В вагоне она не успела подправить себе щеки и остальные части своего лица, а только напудрилась, и запах пудры сейчас же перенес Стягина в Париж, в ее квартиру, всю пропитанную этим

запахом.

— Mais tu vas bien![22] — вскричала она, повернувшись к своей горничной, одетой так же легко, и затараторила насчет своего багажа, перебивая себя и беспрестанно кидая вопросы Стягину.

Он все морщился. Ему хотелось сказать, чтобы они поскорее обе ушли из его комнаты и сняли с себя шубы, от которых шла морозная свежесть. И сразу ему вступило в оба виска от этого трещанья, которое он, однако, выносил целый десяток лет.

— Bonjour, monsieur! — непочтительно крикнула ему Марьета. — Est ce ici la chambre de madame?[23]

Он, не скрывая своего недовольства шумным вторжением обеих женщин, услал Марьету, сказавши ей, что спальня ее госпожи по той стороне площадки.

Леонтина присела на кушетку, объявила прежде всего, что ей страшно хочется есть, а потом нагнулась и потише спросила, кто блондинка, приехавшая встретить ее? Она повела своими широкими, потрескавшимися в дороге губами и прищурила один глаз.

— Ça me paraît louche! [24] — сказала она.

Стягин объяснил ей, что «mademoiselle Véra» — образованная девушка, из очень почтенной семьи, согласившаяся быть его чтицей, что она провела даже двое суток сряду в качестве его сиделки.

Это сообщение не очень тронуло Леонтину. Она только щелкнула языком, быстро встала, вся потянулась и крикнула:

— Mon Dieu! Quel sal pays que votre sainte Russie! [25]

Возглас парижанки, вылетевший неожиданно, рассердил Стягина. Он даже покраснел и готов был сказать ей что-нибудь очень неприятное; но в эту минуту вошли Лебедянцев и Вера Ивановна.

С Лебедянцевым Леонтина уже говорила на площадке. Она знала, что он приятель Стягина, и обошлась с ним ласково; но по его французскому языку тотчас сообразила, что он человек не светский, по платью приняла за бедняка, которого нужно привлечь к себе на всякий случай.

На вокзале Вера Ивановна сейчас же узнала ее и подала карточку Вадима Петровича.

Леонтина всю дорогу говорила с ней, как говорят с гидами, присланными из отеля.

— Вера Ивановна, благодарю вас, — приветствовал Стягин Федюкову и протянул ей правую руку, которою он свободнее владел. — Еще раз простите за беспокойство.

— Мадам, — пригласил Леонтину Лебедевцев, выговаривая ужасно по-французски, — ву зет серви![26]

— Не угодно ли и вам откусать? — пригласил Федюкову Стягин, продолжая говорить с ней по-русски.

— Благодарю вас, — ответила Вера Ивановна своим сдержанным тоном. — Позвольте мне удалиться. Теперь моя роль покончена.

— Полноте, я на это не согласен! — с живостью вскричал Стягин. — Пожалуйста, завтра, хоть между завтраком и обедом, придите почитать мне газеты. И целая книжка журнала лежит неразрезанной.

Леонтина вдруг прервала его:

— *Mademoiselle parle français. Pourquoi se charabia?*[27]

Вышла неловкая пауза. Стягин сказал Леонтине, что завтрак ее ждет, еще раз протя-

нул руку Вере Ивановне и, когда она уходила, крикнул ей:

— Пожалуйста, завтра. Не забудьте!

Леонтина пожала плечами и, уходя, в присутствии Лебедянцева, кинула:

– Ça, c'est du propre![28]

# XI

Часу во втором ночи Вадим Петрович проснулся с болью в правом колене. Ноги его стали было совсем поправляться, но с приезда Леонтины он чувствовал себя гораздо тревожнее и боялся рецидива. Боль была не сильная, и он проснулся не от нее. Через полуотворенную дверь до него доходил довольно громкий разговор обеих француженок. Он не мог схватывать ухом целые фразы, но тотчас же сообразил, что речь идет о нем. Вероятно, Леонтина лежала уже в постели, а ее камеристка стояла или сидела где-нибудь по сю сторону ширм, отделявших кровать от остальной комнаты.

«Наверное, про меня», — подумал Вадим Петрович, и голос служанки был ему еще неприятнее, чем прежде, в Париже.

Он догадался, в чем Марьета убеждает свою госпожу. Завтра Леонтина сделает ему сцену, будет жаловаться на свое двойственное положение, говорить о необходимости обеспечить ее, а может быть, даже и обвенчаться в русской церкви.

Эти две француженки уже овладели его домом. Не дальше как третьего дня, когда Вера Ивановна сидела и читала ему газеты, Леонтина обошлась с нею так, что он должен был извиняться перед Федюковой. Эта умная и добрая девушка все поняла и стала его же успокаивать; но она вправе была считать себя обиженной и прекратить свои посещения.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я на вас в претензии, Вадим Петрович, — говорила она, уходя. — Мое присутствие здесь неловко. Зачем же вам-то расстраиваться?

И он был так слаб, что не разнес Леонтину, не настоял на том, чтобы Федюкова продолжала приходить читать ему. Он ограничился только глупыми извинениями и уверениями, от которых ему самому сделалось тошно.

Без Федюковой он почувствовал себя одиноким, почти беспомощным. Леонтина два дня рыскала по городу и заставляла сопровождать себя Лебедянцева, накупила меховых вещей, заказала себе шубу, ездила осматривать Кремль, возвращалась поздно, и все, что она говорила, казалось Стягину дерзким и нахальным. Еще недавно он сам так презри-

тельно относился к Москве, но когда Леонтина начала, по-парижски, благировать все,[29] что она видела в соборах, в Грановитой палате, он морщился и потому только не спорил с нею, что боялся рассердиться и физически расстроить себя.

Чтения вслух он был лишен уже два дня, ходить по комнате он еще не мог и целыми часами томился в бездействии. Марьета появлялась к нему без зову, и он каждый раз высылал ее.

И теперь, прислушиваясь к разговору в спальне Леонтины, он отдавался забродившему в нем страху связать свою судьбу с парижскою подругой. Его болезнь и приезд ее сюда показали, что между ними не было и подобия привязанности, из-за которой стоит налагать на себя брачные узы. Она стара, вульгарна, без всякого образования, не чувствует к нему даже простой жалости, приехала сюда только из хищнического расчета, да еще начала ревновать, а он позволил ей безнаказанно обидеть хорошую девушку, сделавшуюся для него необходимой.

Гул разговора Леонтины с Марьетой не

прекращался. Стягин порывисто позвонил. Голоса смолкли. Он крикнул им, что они мешают ему спать.

Минуты через две со свечой в руках вошла Леонтина в пеньюаре.

Он пожаловался ей на недостаток тишины. Она ему резко ответила: он капризничает, вымещает на ней досаду за то, что она не позволила ему начать интригу под ее носом.

— Avec cette grosse dindon![30]

Она говорила все это, наклонившись над кроватью.

Ее дряблое лицо с остатками пудры, дерзкий рот и злые глаза дразнили его нестерпимо-нахально. Он приподнялся в постели, схватил ее своими еще опухшими от ревматизма руками, точно хотел пригнуть ее и поставить на колени.

Она крикнула и рванулась. Прибежала Марьята, и обе женщины начали разом криливо болтать. Но он покрыл их голоса и выгнал обеих гневным окриком.

— Il va vous battre, madam![31] — донесся до него с площадки возглас камеристки.

На этот шум поднялся Левонтий, спавший

в чуланчике, около передней, и неслышными шагами проник в комнату барина.

— Батюшка, Вадим Петрович, — шептал он в полутемноте обширной комнаты, где горел ночник, — никак обижают вас?

Вопрос старика тотчас же смягчил настроение Стягина. Он почувствовал себя так близко к этому отставному дворовому и бывшему дядьке. В тоне Левонтия было столько умной заботы и вместе с тем обиды за барина, что с ним могут так воевать какие-то «французенки», которых он, про себя, называл «халдами».

А французенки не думали еще униматься, и трескотня их возмущенных голосов доносилась еще резче.

— Позвольте, батюшка, им сказать, чтобы они так не галдели, — выговорил старик, — или, по крайности, дверь бы затворили.

Левонтий, волоча ноги, пошел затворять двери, и Стягин услышал, как он довольно громко сказал по-русски, обращаясь к Леонти-не:

— Потише, сударыня!

Вернувшись, Левонтий в дверь спросил ба-

рина: не нужно ли чего, не сходить ли в аптеку или не послать ли за доктором. Стягин его успокоил и отправил спать.

Но сон долго не возвращался к Вадиму Петровичу. Он сидел в постели со сложенными на груди руками и мысленно задал себе несколько вопросов.

Прежде всего, почему он не обращался с этою своею подругой так, как она заслуживает, то есть почему не бил ее? Ведь каждая француженка бита кем-нибудь — не мужем, так любовником. Они не понимают мужского авторитета иначе, как этим способом. И ему стали припоминаться сцены из романов и пьес, где мужчина поднимает оба кулака характерным французским жестом, вскрикивает: «Misérable!», [32] а женщина падает на колени и защищает свой загривок.

Неужели он не переселит ее завтра же в отель? Соседство этих женщин невыносимо для него, просто опасно, припадки гнева вызовут непременно серьезный рецидив. У него и без того пошаливает сердце. Надо сделать это завтра же. Но ведь Леонтина может упереться? Она теперь в его доме, под одною

кровлей с ним; это ей дает новые права.

Есть одно хорошее средство: обратиться к Вере Ивановне, с полною искренностью выразить ей, как она ему нужна своею поддержкой, просить ее стать выше всяких щекотливостей, и пускай — выйдет что-нибудь решительное!..

Писать ей большое письмо он еще не в состоянии. Завтра обещался у него быть Лебедеванцев; он, с своей стороны, поспособствует...

И приятель, казавшийся ему таким угловатым и раздражающим, и чтица, вместе со стариком Левонтием, доктором, мальчиком Митей и даже дворником Капитоном составляли одно целое, несомненно свое. На него и надо опереться, иначе не разорвешь с прошедшим.

На женской половине все еще спали на другой день, когда явился Лебедеванцев, за которым рано утром посылали дворника.

Вадиму Петровичу не стоило никакого усилия говорить с приятелем в тоне исповеди.

— Ты и Вера Ивановна, — сказал он ему, — должны мне помочь. Одному мне не справиться вот с этим нашествием.

И он указал рукою по направлению к две-

ри.

Он начал просить Лебедянцева передать Федюковой, до какой степени он до сих пор возмущен выходкой Леонтины и какое одолжение она ему оказала бы, если б согласилась опять приходить к нему. А для этого надо переселить Леонтину в отель, и без всякого промедления.

— И ты возлагаешь это на меня? — спросил Лебедянцев, глядя на него пристально.

— Да, на тебя, и не одно это, а вообще ликвидацию моего прошедшего с Леонтиной.

— Вот оно что!

Возглас Лебедянцева не смутил Стягина.

— Никогда не поздно покончить вовремя! — заговорил Стягин, охваченный желанием показать Лебедянцеву, что он не делает никакой гадости, а просто защищает себя и считает такую защиту законной.

— Да ты ей обещевался? — спросил Лебедянцев, впадая в свой шуточный тон.

— Ты хочешь сказать: обещал ли я ей брак? Нет, не обещал, но она сама добивается его, и там, в Париже, мне от него бы не уйти.

— Чудак! отчего же раньше было не разо-

рвать?

— Отчего! Привычка старого холостяка, и там мы не жили никогда в одной квартире. Я только теперь, здесь, в какие-нибудь три дня, распознал, до какой степени мне эта женщина чужда после десятилетнего сожительства. И она меня не любит, а сюда прилетела, испугавшись, что я умру, похлопотать о завещании или обвенчаться со мной «devant un pere russe»![33]

— Ха-ха-ха!.. — тихо рассмеялся Лебедев. — Известное дело...

— И я убежден, что она уже тебя настроивала, когда вы ездили по магазинам и осматривали Кремль. Ну, скажи, ведь делала подходы?

— Делала.

— И, конечно, жаловалась?

— Больше насчет благородных чувств прохаживалась, говорила мне, что я, как порядочный человек, должен способствовать устройству ее судьбы... Да разве это тебя возмущает? И всякая другая на ее месте, француженка ли, русская ли, стремилась бы к тому же самому. Ты на что же теперь идешь? Доб-

ром она отсюда не уедет. Тут нужно отступное...

Об «отступном», они и стали говорить вполголоса, и когда Лебедянцев собрался уходить, Стягин громко вздохнул и сказал ему:

— Смотри, Дмитрий Семенович, я тебе дал *carte blanche*;<sup>[34]</sup> если ты пойдешь на попятный двор, я сам рвану и покончу так или иначе.

## XII

— Ушел француз, — выговорил Левонтий Наумыч и вдохнул в себя воздух вместе с глотком горячего чая.

Он сидел с дворником Капитоном в своей каморке. Барин сегодня проснулся рано, мог перейти с кровати в кресло и после чая читает газету. Доктор будет около полудня. В доме стоит опять тишина, со вчерашнего дня, когда французенок перевезли в гостиницу.

— Ушел, — повторил Капитон, дуя на блюдечко, и глазки его весело подмигивали.

— Кабы не Дмитрий Семенович, — продолжал старик полушепотом, — да не доктор, барин бы с ними не сладил.

— Доктор, значит, пожелал?

— Доктор... Они бы его совсем уморили.

И в третий раз Левонтий стал рассказывать дворнику, — совсем уже шепотом, — как он прибежал ночью к барину, и что застал, и как «французенки» раскудахтались.

— И сдается мне, Капитон Иваныч, — говорил Левонтий, широко улыбаясь, — что барин, хоть и силы у него в руках еще не было,

как следует стукнул ее.

Это предположение обоим очень понравилось.

— Доктор, — продолжал Левонтий все так же тихо, — живою рукой скрутил. Потому как же возможно больному быть рядом с такими оглашенными?

— А упиралась главная-то мадам?

— Известное дело, побурлила... Без этого как же возможно... Она, небось, чувствует, что ее царству конец подошел.

Оба засмеялись и переглянулись. Капитон расстегнул пиджак и обтер лоб бумажным платком.

— Значит, она с подходцем приехала... Пожалуй, поди... насчет законного брака?

— А то как же... Еще слава богу, что все это здесь приключилось. Да и барину-то полегчало... Захвати она его здесь, — чего боже сохрани, — в полном расстройстве... пугать бы начала и добилась бы своего...

— Именье бы все записал...

— И очень.

Они помолчали.

— А теперь, — спросил Капитон, принима-

ьясь за новую чашку, — нешто она так удалится?.. Все, небось, сдерет?

— Сдерет, — повторил Левонтий. — Однако, Дмитрий Семеныч за это дело взялся... Он человек бывалый и к барину большую привязку имеет...

— И теперича, Левонтий Наумыч, — начал дворник, — ежели ее спустят обратно, откуда она пожаловала, особливо коли куш она сдерет, из чего же Вадиму Петровичу туда ехать?

— Известное дело, не из чего, — подтвердил старик.

Он уже замечал с некоторых пор, что барин совсем не то говорит, не сердится, походя, на Москву, на свое, русское, расспрашивает его про разные разности и не произносит слово «ликвидация», которое Левонтий хорошо выучил. Заметил он, что Вера Ивановна ему по душе пришлась и что он об ней скучает.

Но об ней он первый не заговорил с Капитоном. В этих делах он был очень деликатный человек.

— И барышню француженка же выкурила? — спросил Капитон.

Левонтий не сразу ответил.

— С этого и началось... Приревновала. Вера Ивановна девушка умнейшая... и виду не подала, а ходить перестала. И взять теперь, как она ухаживала за барином, когда он ночи напролет мучился, и какое от этих, с позволения сказать, халд успокоение вышло.

Внизу, с парадного крыльца, раздался звонок.

— Это наверняка доктор, — заметил Капитон.

— Доктор... А Митька-то там ли?

— Должен быть там.

Они разом встали, и Капитон поблагодарил старика за «чай-сахар».

Им обоим стало на душе светлее от всего того, о чем они переговорили. Барину гораздо лучше, дома продавать зря не будет, быть может, и заимует здесь; а главное, протурили «французенок».

По лестнице, действительно, поднимался доктор; ступеньки поскрипывали под его легкими шагами. Полное, добродушное лицо его с мороза зарумянилось, он смотрел по-праздничному, как практикант, заранее довольный тем, что он найдет у больного.

В дверях он остановился, увидав Стягина в кресле, с газетой в руках, и крикнул:

— Вот мы как! Превосходно! Сами газету читаем! Поздравляю, Вадим Петрович! Теперь мы не по дням, а по часам будем поправляться!

Стягин сидел в кресле еще с укутанными ногами, но уже одетый, в накрахмаленной рубашке; глаза смотрели ласково и вопросительно на доктора.

— Павел Степанович! — откликнулся он, протягивая обе руки доктору. — Вы не только исцелитель моего тела, но и души... Вам я обязан тем, что могу теперь спокойно ждать выздоровления.

— Это мой прямой долг, Вадим Петрович.

Доктору он был действительно обязан освобождением своего дома от «француза», как выражался Левонтий. Вчера Леонтина со своей Марьетой была перевезена в «Славянский базар» по настоянию добрейшего Павла Степановича. Он напустил даже на себя небывалую строгость, когда говорил Леонтине о том, что не может ручаться за исход болезни, если больного будет тревожить соседство

двух женщин, не привыкших к тишине.

Леонтина объявила ему в ответ, что она сама не желает оставаться «dans cette sale boîte».

[35]

Вадим Петрович чувствовал себя так, точно будто его избавили от какого-нибудь большого горя, хотя он знал, что переезд Леонтины в гостиницу ничего еще не разрешает, что она может пожаловать сюда, что начнутся объяснения и счеты, каких еще не бывало и в Париже.

Там он не набрался бы такой смелости, как здесь. Да и не было у него там таких помощников, как доктор и Лебедев, трогательно преданный ему.

На доктора Стягин продолжал глядеть доверчивыми глазами. В его взглядах было выражение благодарности и еще чего-то... Они понимали друг друга, как участники в одном и том же трудном деле.

— Поджидаете Дмитрия Семеновича? — спросил доктор после того, как ощупал ноги Стягина, измерил температуру и посмотрел язык.

Он знал, что Лебедев должен сегодня

привезти какой-нибудь «ультиматум» из «Славянского базара». Стягин так же откровенно говорил с ним накануне, как и со своим университетским товарищем. Доктор настаивал на том, чтобы до полного выздоровления Вадима Петровича ни под каким видом не пускать к нему Леонтины. И он, и Лебедев, точно по уговору, действовали так энергично, что Стягину оставалось только ждать и не волноваться по-пустому.

Доктору подали кофе. Левонтий пришел с подносом, улыбающийся, как он улыбался только в Светлый праздник, елейный, с низкими поклонами и особенно ласковыми приветствиями.

Когда он удалился, Стягин сказал доктору совершенно приятельским тоном:

— Вы меня не осуждаете, доктор?

— За что же?

— Да, быть может, мое поведение не совсем... как бы это сказать... безупречно, что ли?

— Это почему? — оживленно возразил доктор. — Вы больной, ваша защита тут вполне законна, да если бы вы даже хотели и обре-

зять... раз навсегда, я вас осуждать за это не буду...

— Однако...

Стягину нужно было услышать от такого человека, как доктор, несколько доводов в свою защиту.

— Я не циник, Вадим Петрович, но в борьбе с женщиной я признаю законность психофизиологического притяжения, — разумеется, когда нет нравственных стимулов, в виде детей. А тут происходит явное нападение на вас... *in extremis*, [36] или вроде того. Воображаю, как бы вам пришлось, если бы вы действительно лежали на одре смерти.

Доктор громко рассмеялся.

Точно масло пролили его слова на душу Вадима Петровича.

— Да, вот подите, доктор, не случись со мной здесь болезни, я бы через год подписывал с госпожой Леонтиной Дюпарк брачный контракт. А тут в одну неделю я прозрел, и весь самообман открылся передо мной, вся страшная глупость, на которую я шел... так, по малодушию и холостой, неопрятной привычке...

— И знаете еще от чего? От того, что зажились за границей, оторвали себя от почвы... Я употребил это слово — почва; но я не славянофил, даже не народник. Но без бытовой и без расовой физиологической связи не проживешь. Отчего вас затянула первая попавшаяся связь? От бедности выбора. Вы там иностранец, в семейные дома входить там труднее, легкость нравов известного класса женщин балует, но отвлекает от нормы. Вот и очутишься во власти одной из тамошних хищниц!

— Да, да, — повторил Стягин, — начинал лишаться воли... Здесь я ушел в себя и почувствовал, как бы сказать...

— Баринном себя почувствовали, Вадим Петрович, человеком почвы, домовладельцем, помещиком, возобновили связь с нашею Москвой, с таким товарищем, как Дмитрий Семенович, и не захотели отдавать себя на съедение, во имя бог знает чего!.. Вы еще вон какой жилистый! Сто лет проживете! Вам еще не поздно и о продолжении вашего рода подумать...

— Куда уж!

Этот возглас Стягина вызвал в нем вдруг мысль о Вере Ивановне. Ее стройная фигура, умная и красивая голова с густыми волосами всплыли перед ним, и ему ужасно захотелось ее видеть. Захотелось и заговорить о ней с доктором, но он застыдился этого.

— Все будет, Вадим Петрович, — продолжал свои доводы доктор, — только оправьтесь хорошенько, проведите у нас зиму, надо вам снова привыкнуть к зиме в теплых комнатах, посадим вас на гидротерапию... А там подойдет весна — в усадьбе поживете. Кто знает, быть может, и останетесь.

Стягин не возражал. Париж не тянул его. Ехать туда — это значит опять сойтись с Леонтиной или ждать от нее разных гадостей. Она его даром не упустит, и лучше здесь закончить с ней, хотя бы дорогою ценой. Представилась ему и зима в Париже — мокрая или с сухими морозами, с зябким сиденьем у камина, с нескончаемыми насморками и гриппами, к которым он был так склонен. Прямо в Париж он ни в каком случае не вернется отсюда. И перспектива русской зимы не пугала его. Это его немного удивило, но не огорчило.

— А вот и Дмитрий Семенович жалуется! — воскликнул доктор, вставая. — Слышу его шаги по лестнице.

Стягин весь встрепенулся.

— Вы куда же, доктор? — спросил он, видя, что тот берется за шапку. — Ведь у меня секретов от вас нет... Я уже сказал, что вы врач тела и души.

— Я тороплюсь... Только пожму руку Дмитрию Семеновичу и надо бежать. А вы, кажется, в волнении... Не бойтесь... Мы вас не выдадим... Москвичи — народ верный, даром что у них репутация лукавых собирателей земли Русской.

### XIII

Маленький, краснеющий нос Лебедянцева улыбался и глаза игриво переходили от одного приятеля к другому, когда он протягивал им руку.

— Извини, брат, — сказал он Стягину, — тебе руки не следует подавать... У тебя еще в суставах опухоль...

— Ничего, ничего, — успокоил его Стягин. — Ты что-то весел. Твоей жене лучше?

Доктор с интересом повторил тот же вопрос.

— Лучше, лучше, — затараторил Лебедянец, пожимая плечами и обдергивая свой серый пиджак. — Все налаживается... Недельку-другую побудет в лечебнице, а у меня гостит Вера Ивановна.

— Вера Ивановна? — переспросил Стягин и возбужденно поднял голову.

— Да, возится с ребяташками... учит их, гулять водит, — бонна заболела тоже, да и не управилась бы.

— Вот и прекрасно!.. — вскричал доктор. — Я напому изречение вольтеровского Пан-

гласа.[37] А теперь имею честь кланяться. К вам, Вадим Петрович, я не заеду до воскресенья... Продолжайте ту же диету...

— Это по части тела, а по части души? — остановил его Стягин.

— Лебедянцев, наверное, привез вам добрые вести... Он мне расскажет после.

Первым вопросом Стягина по уходе доктора было:

— Так Вера Ивановна у тебя будет жить?

Он не, мог сдержать чувство не то радости, не то досады на то, что вот лишен ее общества и услуг, а Лебедянцеву она заменяет и больную жену, и гувернантку.

— Чего же лучше, братец!

— Этак весь ее день будет уходить на твою семью... Она совсем ко мне не покажется.

— Почему?.. Бонна выздоровеет. У нее легкая простуда... Да и дай срок. Вера Ивановна — девушка с амбицией, большая умница... Сюда не пойдет, пока у тебя идет еще война... Ха-ха!.. А ты что ж меня не спросишь, с чем я к тебе сегодня пожаловал?

Стягин точно совсем забыл про Леонтину, про все то, самое существенное для него, с

чем мог явиться Лебедянцев со своей дипломатической миссии в «Славянский базар».

— Да, да! Как стоят переговоры?

Но он спросил это почти спокойно.

— Чудак ты! — прыснул Лебедянцев. —  
Ведь тут, брат, надо будет принимать экстраординарные меры.

— Какие еще?

— Ты не волнуйся без толку. Первым делом, — Лебедянцев присел к нему и закурил, — твою особу надо оградить от вторжения этой дамы. Она порывалась и даже грозила произвести эскляндр![38] Я должен был припугнуть ее.

— Чем?

— Известно чем — полицией!

— Этого еще не доставало! Пожалуйста, без вмешательства квартального... Ничего этого я не желаю!

Прежняя брезгливая усмешка с оттянутою нижнею губой явилась на лице Вадима Петровича: он — европеец, либерал, презирующий всякую сделку с произволом, — не может, хотя бы и косвенно, обращаться к полиции, прибегать к произволу.

— Без этого нельзя!.. — продолжал Лебедянцеv. — Припугнуть необходимо, иначе она сюда вторгнется, ты струсил..

— Никогда! — энергично вскричал Стягин.

— Ну, побьешь ее!.. Допускаю. Ты получишь опять острый рецидив и сделаешься калекой.

Стягин смолк.

— Она теперь, послушай, как поговаривает... Может кинуться к здешним властям... Положим, у ней никаких прав нет, но скандал разнесется. Тебя здесь знают, в дворянских палестинах... Пойдут сплетни...

— Очень мне нужно! Я давно разорвал связи со всеми этими Сивцевыми Вражками и Поварскими!

— Это так тебе только кажется... А, небось, не вкусно будет, если какойнибудь член английского клуба возьмет да и спросит в упор: а правда ли, мол, что вы с французскою гражданкой Леонтиной Дюпарк сделали гадость?

Стягин морщился, и его этот оборот разговора коробил. Не то что он трусил, а ему противна была мысль о дрязгах; он не желал, ни под каким видом, попадать в историю здесь, в

Москве, где никто, даже Лебедянцев, не знал доподлинно его прошедшего с этою женщиной, принимал в нем участие по товарищескому чувству, но в глубине души, быть может, осуждал его.

— Чего же она требует?

— Чего! Мало ли чего! Законного брака или, по крайней мере, обеспечения до конца живота своего... как у них там водится... чтобы все нотариальным порядком... Говорит, что ты ей обещал торжественно...

— Ложь! — крикнул Стягин и хотел было ехать, но Лебедянцев удержал его. — Гнусная ложь!.. Наша связь могла кончиться браком... Но я никогда ей его не обещал... Веришь ты мне или нет?

— Верю!

— И насчет духовной или уступки ей части моей собственности я также не давал ей обещания!

— Да нечего меня уверять! Ты брюзга, но никогда не лгал и слова своего держался. Но мы ведь решили с тобой, что тут без отступного не обойдется.

— Отступное! Отступное! Все это пахнет

бог знает чем... какою-то гадостью!.. Дело простое и ясное... Связь тянулась десять лет... Самый обыкновенный парижский collage... Здесь Леонтина показала свои карты. Здесь же я не пожелал делать глупости — венчаться с нею или оставлять ей, по завещанию, все, что я имею. Я ее не люблю!.. Да никогда как следует не любил, а она меня еще меньше! Сейчас мы говорили с доктором, и он совершенно меня оправдывает.

— А кто тебе сказал, что я тебя обвиняю? Я безмерно рад... Надо ее спустить честно-благородно — вот и все!

— Я не отказываюсь уделить ей часть моих средств.

— В этом весь вопрос. Но она хочет произвести усиленное давление... Она желает быть русской барыней. Она хоть и фыркает на Москву, однако, раскусила, что у тебя я свой отель — она так называет этот дом — и un château[39] — это на ее жаргоне усадьба, и всем этим она мнит владеть, как помещица и дворянка. И ничего этого она не получит, если ты не будешь труса праздновать и не бросишь всякие твои неуместные деликатно-

сти!.. Я, брат, никогда ретроградом не был...  
Доносить на нее не стану, ни хлопотать о ее  
высылке за границу... Но припугнуть следу-  
ет... и ты мне скажешь великое спасибо за од-  
ну комбинацию... На нее меня сама судьба на-  
толкнула...

— Что еще? — все еще расстроенным голо-  
сом окликнул Стягин.

— А вот что... Поднимаюсь я по лестнице  
«Славянского базара» — ко мне навстречу гос-  
подин в бачках, щупленький, в бекеше, по-пе-  
тербургски, в цилиндре, нос острый, очки.  
Что-то знакомое... Как бы ты думал, кто?

— Кто?

— Бедров. Забыл? Юрист!.. Одного выпуска  
с нами. Да ты, никак, с ним на ты был... Он  
сын барина здешнего... чуть не сенатора... У  
них и дом был где-то на Собачьей площадке.  
[40]

— Помню, помню!

— Ведь он теперь — особа! Ты его совсем из  
вида упустил?

— Какое же отношение все это имеет ко  
мне и к Леонтине?

— А ты не брыкайся! Я сейчас сообразил

ничто, остановил его, он очень обрадовался, совсем не важничает; когда о тебе узнал, даже точно маслом ему петербургское-то обличье его обдало... хотел быть у тебя непременно... Здесь он проживет больше недели. Он-то и будет главным пугалом для французской гражданки Леонтины Дюпарк... Я все так подстрою, что она увидит в нем *deux ex machina*. [41] А ты, в свою очередь, откройся ему по душе. Он будет польщен. Я его помню, у него хорошая чувствительность была. Я о нем много наслышан. Он хоть и карьеру свою делал, однако, остался верен идеям нашего времени... И даже тут успел мне кое-что такое сказать... Вдобавок, он законовед и по-французски должен говорить — дворянское дитя, и с его поддержкой я тебе обещаю, что через неделю от всей гражданки Дюпарк и духу не будет... Пудрдери[42] ее — и тот испарится. И все — честно-благородно, не разорительно, — на франки обойдется, а не на рубли золотом.

И Лебедянцев рассмеялся так подмывающе, что и Стягин улыбнулся, вытянул ноги, в которых не было уже никакой боли, и спросил:

— Когда же Бедров хотел заехать?

— Завтра непременно будет. За сутки я ручаюсь насчет вторжения сюда гражданки Дюпарк... То-то, небось! Повеселел? Все за тебя работаем. И Вера Ивановна приказала тебе сказать, что желает тебе полного успокоения... Как только доктор позволит тебе выехать, приезжай поблагодарить ее. А теперь прощай!

Лебедянцев потрепал его по плечу и выбежал.

## XIV

Из кабинета Вадима Петровича вынесли кровать и ширмы. Нет уже в нем запаха лекарств, все прибрано и вычищено.

Только тонкие полосы дыма хороших сигар расходились по просторной комнате, куда зимнее солнце вошло с утра и весело играло на изразцах печки.

Друг против друга сидели, в креслах, Стягин и Викентий Ильич Бедров — уже тайный советник и «на линии сановника», как определил его Лебедев, — сухощавый, лысенький, с маленькими бакенбардами брюнет, хорошо выбритый, в черном сюртуке и серых панталонах солидного покроя, с манерами светского чиновника, в золотых очках.

Стягин смотрел на него сквозь легкое облачко сигарного дыма, и ему еще как-то не верилось, что вот этот самый тайный советник, про существование которого он и забыл, сделался вдруг посредником в его холостых парижских «итогах», и в несколько дней оформил все прилично и благородно... Леонтина уже на пути к Берлину, она получила свое

«отступное» в виде капитала в процентных бумагах и всю парижскую обстановку его квартиры, кроме библиотеки, вместе с платой, по контракту, за пять лет вперед.

Но устроилось это так скоро и складно потому, что гражданка Дюпарк поняла, кого имеет перед собою. В глазах ее Бедров был «magistrat»[43] — и перед этим званием она смирилась; сообразила и то, что у Стягина такой влиятельный и высокопоставленный товарищ, — не чета обдерганному Лебедянцеву, которого она с Марьетой назвала: «l'âme damnée de l'autre»[44] а под именем «l'autre»[45] подразумевала Вадима Петровича.

Бедров ничем не пугал Леонтину, но повел переговоры так, что в два какихнибудь дня все было улажено и Стягин получил от нее письмо, где она его благодарила, уверяла в неимении каких-либо других притязаний, была тронута передачей ей даровой квартиры со всею обстановкой и просила позволения приехать проститься с ним.

Прощанье происходило на этом же месте, вчера, в присутствии Лебедянцева, который отвез ее вчера же на Смоленский вокзал.

— И вы опять туда, dahin, wo die Citronen blühen?[46] — спросил Стягина его гость, поглядывая на него умными, немного усталыми карими глазами.

Они были студентами на ты, но им ловчее сделалось говорить друг другу вы при встрече в Москве.

— Dahin?[47] — повторил Стягин. — Я, право, и не знаю куда. В Париж решительно не тянет. У меня там и гнезда больше не будет...

— А здесь?.. Гнездо готовое!

Стягин промолчал. Ему делалось завидно глядеть на такого же холостяка, как он, на петербургского служаку, которого он в другое время обозвал бы презрительным словом «чинуш». Этот чинуш, вот сейчас, говорил с ним о себе, своей службе, ее тягостях, холостом одиночестве, набросал ему невеселую картину того, что делается в Петербурге и в провинции, вверху и внизу, каким людям дают ход, какой дух господствует, на что надеяться и чего ждать.

— Не сладко, очень не сладко, — выговорил Бедров, — потому-то и нужно быть на своем посту. Нельзя дезертировать, нельзя!..

Как бы ни было пленительно под голубым небом, где зреют апельсины... Абсентеистом [48] нашему брату уже поздно быть!

— Вы меня осуждаете за то, что я так долго находился в бегах?

— Не осуждаю, а скорблю...

— Не на службу же поступать! — вырвалось у Стягина.

— А почему же нет? Можно и без вицмундира быть на службе. И здесь, в городе, и в деревне каждый не опустившийся человек приобретает тройную цену... Хам торжествует. И вы, господа, добровольно уступаете ему место. В уезде можно и в сословной должности делать массу добра!

Не раз слышал Стягин точно такие же речи и был к ним глух. Он оправдывал свое нежелание оставаться дома — бесплодностью единичных усилий и благих намерений, не хотел мириться с неурядицей, дичью, скукой и преснотой деревенской жизни; в Москве не умел выбрать себе дела, находил дворянское общество невыносимым, городские интересы — низменными, культурные порядки — неизлечимо варварскими.

Но в лице Бедрова сидел перед ним как раз тот человек, которого судьба послала точно нарочно затем, чтобы освободить его от единственной житейской привязки к Парижу, где у него нет никаких других связей.

Ведь он и там совсем чужой до сих пор. С русскими он не знается, в свет не ездит, ученых и литературных интересов у него нет, не нажил даже никакого дилетантства, в клубах не бывает, не любит ни карт, ни спорта, за исключением прогулок, утром, верхом. Театр давно утомляет его, да ему из Пасси и неудобно поздно возвращаться домой. Два-три случайных знакомства с французами, да чтение газет и книжек, да заботы о своем пищеварении, поездки на воды, на морские купанья, перебранки с Леонтиной, скучная переписка по хозяйству, по дому в Москве, жалобы на плохой курс, хандра, ожидание старости и смерти.

Стягин поник головой и больше уже не курил.

— Только тем и красна жизнь, — сказал Бедров, вставая, — что стоишь на своем посту.

— Пожалуй, — чуть слышно выговорил

Стягин.

Гость взялся за шляпу.

— Вы разве не зайдете еще? — спросил его хозяин.

— Сегодня вечером еду.

— Да я вас, мой друг, не успел хорошенько и поблагодарить за ваше участие. Право, это все так сделалось, точно по щучьему велению.

— Не будете на меня пенять, — сказал с усмешкой Бедров, — за такую быстроту развязки?

— Что вы!

И Вадим Петрович поднял даже обе руки.

— А все бы лучше, если вы действительно разорвали, не рисковать возвращением в Париж...

— Да я и не поеду туда...

— Поручите кому-нибудь ваш раздел вещей, книг...

— Найдется!

— Наложите-ка на себя, коллега, маленький искус... Проживите до весны, побывайте у себя в усадьбе... Можно ведь и домком зажить... Это вот я, вицмундирный человек, об-

рек себя на целибат...[49] А вы еще наверстае-  
те...

— Куда уж!

Опять у него вылетело то же выражение, и опять он подумал о стройной и красивой девушке, еще так недавно сидевшей около стола с газетой в руках.

Она теперь у Лебедянцева в роли матери. Ребятишки льнут к ней. Какие рослые и здоровые дети пойдут от такой женщины!

— Задумались? — тихо спросил Бедров, подавая ему руку.

— Спасибо, спасибо, — повторил Стягин, встал и свободно прошел с гостем до двери.

— Сидите, сидите! В передней для вас свежо!

Посредине комнаты Вадим Петрович стоял еще несколько минут. Ему хотелось сесть в сани и поехать к Лебедянцеву, но доктор не разрешил ему выезд. Можно простудиться и опять слечь. Эта мысль не испугала его... Не умрет! С такими припадками ревматизма еще можно помириться. А заболеет он — Лебедянецв пришлет Веру Ивановну.

Большое раздумье сошло в душу Вадима

Петровича. Он опустился на кушетку, закрыл глаза и долго лежал так, не двигаясь ни одним членом. Он не хотел ничем тревожиться, думать о том, что его ждет, останется он здесь или очутится в Ницце или Каире... Ему было легко... Какая-то приятность впервые овладела им в этом мезонине собственного дома. Никуда не нужно спешить. Ни перед кем не нужно прыгать, ни с каким шумным вздором возиться. Нечего и глодать себя тем, что живешь скучающим иностранцем и теряешь на бумажках тридцать процентов и более.

Силы еще есть. Средства хорошие. «Отступное» Леонтине не расстроило его дел. С домом, с именем все можно повернуть, как он того хочет... Вот она — почва, о которой говорил доктор.

И неизведанная жалость ко всему этому добру, брошенному из-за брюзжанья, а потом и ко всей родине начала проникать в него.

— Хам торжествует! — вдруг выговорил он вслух и раскрыл глаза.

А кто позволил ему торжествовать?.. Вот такие, как он, Вадим Петрович, абсентеист и

скучающий русский дворянин, добровольно обрекавший себя на роль бесполезного и фыркающего брюзги, чтобы кончить законным браком с гражданкой Леонтиной Дюпарк!

## XV

Над террасой, спускающейся от храма Спасителя, стояла зимняя заря. Замоскворечье утопало в сизо-розовой дымке; кое-где по небу загорались звезды. Золоченые главы храма тоже розовели. Величавым простором дышала вся картина.

Электрические фонари разом зажглись, и их розоватый свет смешался с общим тоном освещения. Свежий снег лежал на дорожках цветника, на ступеньках террасы, на крышах домов. Мраморные стены храма отливали желтоватостью слоновой кости.

Тишина нарушалась только тихими волнами загудевшего колокола.

По ступенькам поднялся Вадим Петрович, в бекеше, в котиковой шапке, довольно легкой походкой, изредка опираясь о палку. Он из дому прошел пешком до Кремля, спустился Тайницкими воротами и набережной направился к храму Спасителя.

На верхней площадке он остановился и долго глядел. Картина захватила его. Грудь дышала привольно, глаза покоились на очер-

таниях Замоскворечья, ища дальнего края, где сизо-розовая дымка переходила в густевшую синь свода.

Старинная маленькая церковь приткнулась сбоку мраморной громады, и кресты ее фигурных главок искрились в последнем отблеске зари.

Стягин искренно любовался. Волны медного гула, шедшего сверху, настраивали его особенно. Он оглянулся на ту сторону храма, где главные двери. Народ понемногу собирался к службе, почти только простой люд — мещанки в белых шелковых платках, чуйки[50] мастеровых, кое-когда купеческая хорьковая шуба.

Тихо, все еще любуясь картиной, прошел Стягин к паперти, поднялся на нее и еще раз постоял, глядя на уходящие в полумрак улицы Остоженку и Пречистенку и конец бульвара.

Так он себя еще не чувствовал в Москве. Осенью все его раздражало и бесило. Теперь все покоило взгляд, и тишина зимы убаюкивала нервы. Сколько живописных пунктов было по его пути, когда он спускался от По-

кровки к городу, а потом Кремлем и вдоль Москвы-реки! Ничто ему не мешало ценить своеобразную красоту панорамы. Нечто подобное переживал он только в Италии, в таких старых городах, как Флоренция. «Ужасная» Москва заново привлекала его, и он не пугался такого чувства.

То же продолжал он испытывать, стоя на обширной паперти храма Спасителя.

Вслед за какою-то старушкой с подвязанным подбородком, в коротком стеганом салопце, и он проник в боковой ход. Сюда попал он в первый раз в жизни. Когда Стягин был студентом, храм строился, и строился долго-долго. Никогда его не интересовали работы внутри церкви. Наружный ее вид находил он всегда тяжелым, лишенным всякого стиля, с безвкусною золотою шапкой.

Внутренность храма, когда Вадим Петрович остановился недалеко от средних больших дверей против мраморного шатра, покрывавшего алтарь, полная живописной полумглы, ширилась в грандиозных очертаниях сводов и стен; снопы маленьких огоньков на паникадилах мерцали в глубине, чуть-чуть

освещающая лики икон. Сверху ряды золоченых перил на хорах отливали блеском округлых линий.

Чем-то совсем европейским и грандиозным пахнуло на Вадима Петровича под куполом храма: пышная роскошь украшений, истовость всего тона, простота и ласкающая гармония целого. Ему не захотелось ни к чему придирааться. Он отдавался общему впечатлению и, уходя, дал себе слово прийти сюда утром изучить все в деталях.

Сходя с паперти, он вспомнил вдруг восклициание Леонтины, когда она вернулась с Лебедянцевым после осмотра московских церквей.

— *C'est crâne!*[51] — выразилась она про храм Спасителя и воздержалась от всякой парижской бляги.

— *C'est crâne!* — повторил и он вслух, но тотчас же стряхнул с себя воспоминание о приезде Леонтины, не хотел примешивать к своим сегодняшним впечатлениям память о ее невежественной сорочьей болтовне.

Он пошел пешком обедать к Лебедянцеву, и этот конец, — даже и по-московски не ма-

ленький, — не утомлял его. Он бодрым шагом спустился к Пречистенке. Зима принесла с собой полное освобождение от ревматических болей, чего он никак не ожидал. Сухой холод выносил он прекрасно.

К Лебедянцеву его тянуло. Веру Ивановну он видел у себя всего раз. Она пришла не одна, — привела старшую девочку, посидела с четверть часа, на расспросы отвечала мягко, но чрезвычайно сдержанно... Детей она любила, за выздоровление жены Лебедянцева не боялась.

Но ему хотелось и в тот раз поговорить с ней о ее личной судьбе. Неужели она так и проживет в этой невзрачной доле, довольствуясь дешевыми уроками, случайным местом чтицы, чуть не сиделки?

Он непременно поговорит с ней, и сегодня же, и прежде всего покажет ей, что он уже не тот Стягин, за которым она так умно ухаживала, не фыркающий брюзга, малодушно носивший иго парижской нечистоплотной связи. Она поймет и оценит.

Сегодня впервые познакомится он и с житем-бытием своего товарища, в котором на-

шел такого испытанного друта.

И чем ближе он подходил к квартире Лебедянцева, тем явственнее сознавал в себе приятное щемление в груди. Как будто он смущен и в то же время на душе ясно сознание прочности своего положения и решимость пустить корни здесь, в этой «ужасной» Москве, даже там, у себя в усадьбе, где столько земли, леса и разных угодий томятся так долго без призора, как нечто лишнее и чужое.

С Пречистенки Вадим Петрович повернул в один из переулков, пошедший ломаною линией куда-то в глубь, совсем не туда, куда бы ему следовало идти. Но эти зигзаги не сердили его. Он знал, что найдет то, что ему нужно, на третьем повороте войдет на просторный двор, возьмет влево и увидит домик с мезонином, подробно описанный ему Лебедянцевым, и поднимется на крылечко.

Так все это и вышло. Вот и ворота; в сгустившихся сумерках свежий снег белеет точно в поле; где-то в конуре брякнула цепь собаки и раздался глухой лай. Окна домика приветливо освещены и внизу, и в мезонине. Крылечко чистое, с навесом.

Стягин позвонил. Ему отворила пожилая горничная, в головке,[52] как носили нянюшки в его детство.

— Пожалуйте, батюшка, Дмитрий Семеныч сейчас вернулись.

Тон горничной напомнил ему Левонтия Наумыча, которого он отблагодарил вчера, предлагал ему поселиться у него в доме, но старик не пожелал покинуть богадельню, где умирать «расчудесно».

В маленькую переднюю выбежала собачка-коротконожка, на кривых лапах, и стала ласкаться к Стягину. За ней показался мальчик лет трех, с большою головой, в опрятной блузе, и улыбнулся гостю большими, круглыми глазами.

— Неужели пешком? — раздался голос Лебедянцева.

— Пешком, — весело ответил Вадим Петрович, — от самого дома.

Лебедянцев расхохотался и крикнул на собаку.

— Дружок! Не приставай!.. Колька, — приказал он сыну, — беги наверх и скажи Вере Ивановне, что пора кончать урок. Каков у ме-

ня бутуз? — спросил Лебедянцев Стягина, когда они проходили зальце, где стол был чистенько накрыт к обеду. — Ты, брат, лишен родительского нерва. Пойдем в кабинет, отдохни... Не очень ли ты уже понадеялся на себя? Ведь это страшный конец!

То, что Лебедянцев звал своим кабинетом, была узенькая комнатка, в одно окно, с кушеткой и стареньким письменным столом.

— Приляг, приляг сюда!

Стягин прилег на кушетку и оглядел голые стены комнатки. Ему стало совестно за бедность своего товарища, за эту выносливую и приличную бедность.

— Скоро вернется жена твоя? — тихо спросил он искреннею нотой.

— Она совсем наладилась... если только не будет рецидива.

— Да ведь это проходит с беременностью?

— Проходит.

— И какое счетом чадо будете вы ожидать?

— Пятое!.. Да одно умерло.

— И тебя не страшит такая цифра?..

Вадим Петрович не договорил.

«Нечего умничать, — поправил он себя

мысленно, — лучше войти в их положение...»

Где-то, сверху, заскрипели ступеньки лестницы; он узнал шаги Веры Ивановны и тотчас же вскочил с кушетки.

## XVI

В угловой комнате с занавеской — она служила и спальней, и гостиной — Стягин и Вера Ивановна сидели у круглого стола.

Она вышивала. Он перелистывал иллюстрированный журнал. Дешевая лампа с темным абажуром роняла свет на руки и часть лица девушки и оставляла комнату совсем темной.

В доме все стихло. Детей уложили. Лебедянцева часу в восьмом собрался на заседание какого-то общества и приглашал Стягина с собой, но тот не поехал, попросил у Веры Ивановны позволения посидеть еще немного.

Оставшись с ней наедине, он начал испытывать неопределенную тревогу. За обедом она занималась больше детьми и редко вставляла слово в общий разговор. Ее расспросы про его здоровье звучали искренно; но он желал видеть в ней еще что-то, ту ступень близости, какая установилась у них там, на Покровке.

Но и ему самому неловко было взять другой тон. Несколько фраз перебирал он мыс-

ленно, которые бы сейчас повели к задушевной беседе. Он боялся показаться бесцеремонным, играть роль богатого барина, желающего обласкать свою бывшую чтицу.

И это колебание увеличивало его тревогу.

— Вера Ивановна, — выговорил он, глядя не на нее, а на рисунок журнала, — у меня есть план насчет Лебедянцева... Одобрите ли вы его?

— Какой, Вадим Петрович?

— Я первый раз здесь, и благодаря вам...

Она промолчала.

— Вы вызвали во мне совсем другое отношение к Лебедянцеву и его житейской доле. Надо его обеспечить. Он мне дал мысль иначе распорядиться моею городской собственностью. Я ему предложу быть моим компаньоном по этой части, вести постройки. У него будет даровая квартира и доля в доходах.

Умные и пытливые глаза девушки остановились на нем. Но в них он чувствовал еще какую-то особенную сдержанность.

Тихонько протянул он руку и прикоснулся концами пальцев к ее вышиванью.

— Послушайте, — продолжал он понижен-

НЫМ ЗВУКОМ, — ВЫ ТОЧНО НА МЕНЯ В ПРЕТЕНЗИИ ЗА ЧТО-ТО...

— Я, Вадим Петрович?

Щеки ее слегка порозовели. Он глядел на нее вбок. Голова ее, с густыми, волнистыми волосами и белым значительным лбом, немного откинулась назад. Ресницы она опустила.

Тревога Стягина возрастала. Эта девушка привлекала не одною своею свежестью, бюстом и красивым профилем. Никогда он не имел к женщине такого почтительного чувства, смешанного со страхом, что вот она совсем уйдет от него, что он перед ней несправимо провинился.

— Неужели вы не простили той сцены... у меня, когда приезжая из Парижа особа так глупо повела себя? Я, конечно, был кругом виноват в том, что ввел вас в интимные подробности моей жизни...

— Полноте, Вадим Петрович, — остановила она его и положила работу на стол. — Мне уже под тридцать лет... И такой щекотливости во мне нет... Вы со мной были очень деликатны. Только мне неприятно стало, что так

ВЫШЛО...

Она затруднялась выразить вполне свою мысль.

— А вышло очень хорошо! — вдруг заговорил Стягин с неожиданным для него напылом смелости. — И вот я вольный казак! И этим я обязан, прежде всего, знаете кому?

— Нет, не знаю, Вадим Петрович.

Она опять опустила голову над работой.

— Вам, Вера Ивановна.

Ему показалось, что ее ресницы нервно вздрогнули.

— С какой стати?

— Вам, — повторил он и взял ее за руку около локтя.

Она отдернула руку.

— Полноте, — выговорила она, и в голосе ее слышались те строгие ноты, которых он ждал и боялся.

— Почему же мне не говорить правды? — возбужденно возразил он, испытывая уже более приятную тревогу. — Разумеется, вам. Приехала та женщина, — он не хотел называть ее по имени, — приревновала к вам, показала все свои карты, и вот ее больше нет в

моей жизни!

— И вы говорите это с такой радостью, Вадим Петрович?

Вопрос звучал укоризной.

— А то как же?

— И вам ни чуточки не жаль этой женщины... или своего прошлого? Все-таки, у вас была же...

— Дурная привычка!

Он опять стал бояться того, что она его осуждает, что в ее глазах он бездушный развратник, прогнавший от себя женщину, с которой жил десять лет. Ведь это, по толкованию русской девушки с новыми взглядами, выходит «гражданский брак»... Он порывисто стал оправдываться... Не то одно его оттолкнуло, что в парижской «подруге» слишком уже сквозило желание воспользоваться его болезнью и женить на себе, но он сам испугался пошлости и лжи такого конца и говорит это прямо, говорит ей, Вере Ивановне, девушке, на суд которой хочет отдать свое поведение.

В жару своей оправдательной речи Вадим Петрович взял ее руку и не выпускал из сво-

ей. Вера Ивановна уже не отдергивала ее.

— Я вам верю, Вадим Петрович, — сказала она и выпрямилась. — Доверие ваше очень ценно. Много ли вы меня знаете? Как простые люди говорят, без году неделя... Ваша болезнь сблизила нас, это точно... Я к вам, втихомолку, присматривалась... Вы для меня стали понятны... довольно скоро. Вам не хорошо жилось там, в Париже. Сухо, материально. А между тем в вас сидит совсем не такой...

— Брюзга, — задушевым звуком подсказал он.

Она тихо рассмеялась.

— Да, если хотите... А шутка — двадцать лет прошли у вас в этой заграничной суши...

«И ты — почти старик», — подсказал он себе, и ему стало вдруг жутко, до слез обидно и смешно за себя. Пятый десяток пошел, а он вот ищет женского отклика на свою холостую хандру.

— Неужели и отходную себе читать? — спросил он и взглянул на нее грустно, почти просительно.

— Зачем? Разве я это говорю, Вадим Петрович?

Голос ее приласкал его. Ему стало легче. Чувство давно неиспытанной стыдливости начало овладевать им. Хотелось надеяться и не страшно было от возможности другого конца, согретого любовью такой девушки.

Но надо ее вызвать!.. Она не Леонтина; ее не купишь... Бедность и труд не страшны ей...

С теми же мыслями вышел Стягин и из маленького домика полчасу спустя.

На дворе стояла лунная ночь. Он прошелся немного пешком, на Пречистенке взял извозчика и приказал ему ехать на Покровку Кремлем.

На эспланаде, против дворца, он остановил извозчика, вышел и долго стоял у перил, любуясь несравненною ночью картиной. Он не боялся холода, не мечтал о новом побеге в чужие края, никуда его не тянуло, ничего брезгливого против Москвы не поднималось в его душе. Город, которому он так долго изменял, владел им в эту минуту. Все ему сделалось близко, понятно и дорого. Из маленького домика ушел он смущенный и тронутый; надежда на хороший конец не стихала. Вся история его болезни, поддержка товарища,

освобождение от Леонтины, роль красивой и умной чтицы могли бы представиться ему совсем в другом свете... Его ловко обошли. Лебедянцеv поживится около него и женит на девушке, преданной себе...

Так бы и стал ему представлять дело любой парижанин. И он может точно так же все объяснить, но не хочет. Жить он хочет по-другому, — это он знал и чувствовал, не смущаясь тем, что ему пошел сорок пятый год...

На него лились с неба серебристые лучи, на него и на белые стены соборов, и на розовую громаду дворца, на матовое золото церковных глав.

Что-то бодрящее, никогда не испытанное наполняло его... Он вспомнил свой разговор с доктором о «почве» — и ему стало еще отраднее...

По дороге домой он по-детски закрыл глаза и в полудреме ехал так по улицам, подставляя лицо под легкий морозный ветерок.

# Примечания

памятник Ломоносова через решетку двора нового университета на Моховой. — Так называемое новое здание Московского университета построено в 1833–1836 годах на углу Моховой и Большой Никитской на основе строений усадьбы XVIII века. Бронзовый бюст Ломоносова (скульптор С. И. Иванов) установлен в 1876 году; в октябре 1941 года постамент памятника был разрушен во время воздушного налета; ныне бюст установлен в клубе МГУ (ул. Моховая).

[^^^]

## 2

Фуляр — шейный платок из тонкой шелковой ткани, отличающейся особой мягкостью.

[^^^]

Румянцевский музей — существовал в 1862–1925 годах; образован на основе коллекций и библиотеки, собранных графом Н. П. Румянцевым, в бывшем доме Пашкова (ныне одно из зданий Библиотеки имени В. И. Ленина).

[^^^]

Грум — здесь: лакей.

[^^^]

# 5

Allons donc! — Полноте! (Фр.)

[^^^]

# 6

Coin de feu — костюм (фр.).

[^^^]

Comresse echauffante — согревающий ком-  
пресс (фр.).

[^^^]

## 8

Шарко Жан-Мартен (1825–1893) — известный французский врач-невропатолог.

[^^^]

Ипотека — ссуда, выдававшаяся под залог недвижимости; залог, служивший обеспечением этой ссуды, не передавался кредитору, а оставался в руках должника.

[^^^]

Ma chère amie — моя дорогая (фр.).

[^^^]

Je vous annonce, chère amie — сообщаю вам,  
дорогая (фр.).

[^^^]

Un bouquin — книжонка (фр.).

[^^^]

«Figaro» — старейшая французская ежедневная газета; издается в Париже с 1826 года.

[^^^]

Ирритация — раздражение (мед.).

[^^^]

Arrive Moscou dans deux jours. — Embrasse.  
Lèontine. — Приезжаю в Москву через два  
дня. — Целую. Леонтина (фр.).

[^^^]

«Petit Journal» — французская бульварная ежедневная газета; выходила с февраля 1863 по июнь 1944 года.

[^^^]

Un collage — здесь: прочная интрижка (фр.).

[^^^]

Les coucher dans son testament — ВКЛЮЧИТЬ ИХ  
в свое завещание (фр.).

[^^^]

Faire largement les choses — здесь: сорить деньгами (фр.).

[^^^]

Un boyard russe — русский барин (фр.).

[^^^]

Bonjour, mon ami! — Здравствуй, мой друг!  
(Фр.)

[^^^]

Mais tu vas bien! — У тебя все в порядке! (Фр.)

[^^^]

Bonjour, monsieur! Est ce ici la chambre de madame? — Здравствуйте, мсье! Есть ли здесь комната для мадам? (Фр.)

[^^^]

Ça me paraît louche! — Это кажется мне подозрительным! (Фр.)

[^^^]

Mon Dieu! Quel sal pays que votre sainte  
Russie! — Боже мой! Ну и грязная страна, эта  
ваша святая Русь! (Фр.)

[^^^]

Бу зет серви! — Вам подано! (Фр.)

[^^^]

Mademoiselle parle français. Pourquoi se charabia? — Мадмуазель говорит по-французски. К чему эта мешанина? (Фр.)

[^^^]

Ça c'est du propre! — Ну, это уж слишком! (Фр.)

[^^^]

Благировать — блажить, дурить, упрямиться  
(устар.).

[^^^]

Avec cette grosse dindon! — Здесь: с этой толстой дурехой! (Фр.)

[^^^]

Il va vous battre, madam! — Сейчас он вас поколотят, мадам! (Фр.)

[^^^]

Misérable! — Презренная! (фр.).

[^^^]

Devant un pope russe — перед русским попом  
(фр.).

[^^^]

Carte blanche — здесь: неограниченные полномочия (фр.).

[^^^]

Dans cette sale boîte — в этой грязной конуре  
(фр.).

[^^^]

In extremis — в максимальной степени (лат.).

[^^^]

...я напомню изречение вольтеровского Панглоса. — Панглос, один из героев повести Вольтера «Кандид» (1759), во всех трудных случаях жизни неизменно восклицал: «Все к лучшему в этом лучшем из миров!»

[^^^]

Скандал (от фр.: esclandre).

[^^^]

Un château — замок (фр.).

[^^^]

Собачья площадка — бывшая небольшая площадь в районе улиц Арбат и Большая Молчановка. Возникла, по преданию, на месте Псарного, или Собачьего, двора для царской охоты, известна с XVII в. В 1952 году Собачья площадка вошла в состав Композиторской улицы, в 1960-х гг. уничтожена при прокладке улицы Новый Арбат.

[^^^]

Deus ex machina — бог из машины. Здесь: сверхъестественная сила (лат.).

[^^^]

Пудрдери — рисовая пудра (фр.).

[^^^]

Magistrat — начальство (фр.).

[^^^]

L'âme damnée de l'autre — душой, посвященной другому (фр.).

[^^^]

L'autre — другого (фр.).

[^^^]

Dahin, wo die Citronen blühen? — туда, где зре-  
ют лимоны? (Нем.)

[^^^]

Dahin? — Туда? (Нем.)

[^^^]

Абсентеист — здесь: человек, уклоняющийся от исполнения своих общественных обязанностей.

[^^^]

Целибат — обязательное безбрачие католического духовенства и православного монашества.

[^^^]

Чуйка — длинный суконный кафтан.

[^^^]

C'est crâne! — Здесь: вот это да! (Фр.)

[^^^]

Головка — в купеческом, мещанском и крестьянском быту головная повязка замужних женщин из шелкового платка, преимущественно яркого цвета.

[^^^]